


И. Ф. ПОПОВ

30945



ПОД  
ЗВЕЗДОЮ  
МОСКВЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА  
1943



*И. Ф. П о п о в*

# **ПОД ЗВЕЗДОЮ МОСКВЫ**

*П о в е с т ь*

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**МОСКВА 1943**



---

— Вас там спрашивают, Бель-бель, — сказала Луиза, старая тетка Альберта ван-Экена, войдя в кабинет. Она называла племянника Бель-бель, как он сам в детстве выговаривал «Альберт».

Декабрьское утро было бесшумно и задумчиво.

Ван-Экен, не оборачиваясь и не отрываясь от старинной валонской миниатюры, которую рассматривал в лупу, весело спросил:

— Кто же это там меня спрашивает, моя добрая тетя?

Луиза вскрикнула:

— Храни нас пресвятая мать.

Альберт вскочил и машинально запер миниатюру в ящик.

— Немцы?

— Да, Бель-бель. Они вошли в дом и ждут вас в столовой.

— Но ведь сегодня воскресенье, Луиза.

Он и сам удивился детскости и наивности того, что сказал. Ван-Экен велел Луизе передать, что сейчас выходит.

Он остался один в своем тихом кабинете.

«Конечно, эти люди — вестники какого-нибудь несчастья. Но что делать? Судьба пришла, ее не избежать».

Альберт шагнул к двери, взялся за скобу, но не открыл. Зачем спешить? Кто знает, может быть, это — последняя в его жизни минута, когда он еще располагает собою.

Полтора года тому назад в июньский вечер немецкие войска вступили в город, и от той поры ван-Экен считал, что господином его жизни стал случай.

Отчего не бежал он раньше? Но куда было бежать? По дорогам, тропам, лесным чащам, горным ущельям, вдоль берегов рек — в трепете и страхе мчались обезумевшие толпы. И зачем бежать? Альберт знал, что народу предстоит страданья, и считал своим долгом разделить участь родного города.

Сомнение и вера, отчаяние и надежда одинаково владели душою Альберта. В поступках же он полагался только на вековой здравый смысл.

В те мгновенья, когда сердце его горело и кровь колотилась в жилах от гнева, он, чтоб сдержать порыв, закладывал руки за спину, стараясь не сжимать пальцы, и подолгу смотрел, как увявшая ветка колеблется на мертвой зыби уснувшего канала.

На обе Фландрии Альберт славился как искусный садовод. Из Гента и даже из Голландии приезжали к нему за советами.

Его стихия была природа и созидание. Он носил в глубине своего существа ощущение непреложного вековечного закона жизни, совершающей неотвратимый круговорот рождений, расцветов, увяданий, смен, обновлений и все новых и новых возникновений.

Альберт знал, что только тому суждено расти, подниматься к солнцу и побеждать, что заложило глубокие корни в сокровенных недрах.

Он верил, что не напрасно упорные и отважные предки бельгийцев сквозь века угнетений, со времени нашествия Цезаря, пронесли свое знамя, отстаивали свою свободу против всех видов тирании и сумели воздвигнуть неодолимые преграды даже против на-

бегов угрюмого Северного моря на их низко лежащие земли.

Альберт знал, что за жестокой зимой настанет весна, что зло минует и свобода вернется, но полагал, что в бурю разумнее не бродить по дорогам, а выжидать в прикрытии.

Несчастье, оскорбившее его отечество, обострило в Альберте любовь к прошлому и к былой славе отцов.

Его город был живым музеем. Над извечным ручьем, теперь превращенным в канал, проходивший через центральную площадь, Гранд Пляс, был перекинут каменный мост, построенный еще римлянами. Посреди площади — с золоченой резьбой и с разноцветными стеклами в узких готических окнах — стояла ратуша, сооруженная в XVI веке под руководством одного из учеников знаменитого строителя брюссельской ратуши, — Анри ван-Педе. Рядом красовался узорчатыми высечками из камня одноэтажный локал средневековой корпорации каменщиков; в нем помещался теперь местный профессиональный союз строительных рабочих. Еще подалее — пивная цеха маляров «Под крылом ласточки», существовавшая пятое столетие. А на холме — собор святой Жюстины, воздвигнутый в годы расцвета фламандских общин. Этот собор был больше искусством чеканки и резьбы, чем созданием архитектуры.

Все это пощадила война 1914—1918 годов. И до наших дней во время майских рабочих демонстраций знаменщик союза строительных рабочих, став во главе своей колонны, развертывал знамя каменщиков с шитой золотом пометой: «Лета от рождества Христова тысяча триста второго». Сохранилось предание, что под этим знаменем каменщики сражались в 1302 году, в битве под Куртрэ принесшей победу защитникам городских фламандских вольностей.

В первый же вечер, когда вошли немцы, Альберт испытал ужас бессилия и беспомощности: около Римского моста была сбита немцами статуя покровительницы города, святой Жюстины; на локале каменщиков повесили вывеску: «Комендатура»; в ратуше, повидимому, допрашивали арестованных; люди слышали оттуда стоны и выстрелы.

Все то, что было мило, как сказка раннего детства, как краса праздничных дней, как привычные спутники и свидетели житейских повседневных перемен и событий: раздумий, печалей, веселья, свиданий, расставаний, солнечных восходов и закатов, — все это могло быть без возврата попрапо и стерто с лица земли.

В этот же вечер Альберт уговорил Луизу вместе с ним незаметно вынести из пивной «Под крылом ласточки» два дубовых обрубка с приделанными к ним грубо струганными сосновыми спинками. На этих обрубках сжижали пять веков тому назад основатели «Под крылом ласточки». Обрубки стояли в пивной на возвышении, обитом красным сукном и отделенном от остального зала тяжелой золоченой цепью. В суматохе первых часов нашествия Альберту и Луизе удалось также спасти знамя каменщиков.

Дубовые обрубки и знамя Альберт и Луиза принесли в дом ван-Экенов. Они поставили реликвии в большой, всегда пустовавшей комнате нижнего этажа, плохо освещенной и несколько угрюмой от того, что окна ее выходили к крутому холму, стоявшему стеной позади дома на расстоянии двух метров.

Холм этот образовал правый берег ручья. Старожилы утверждали, что домик ван-Экенов, приобретенный еще прадедом Альберта, кузнецом ружейной фабрики, был построен на месте разрушившегося от времени старинного замка и что будто бы из пустовавшей комнаты нижнего этажа существовал скрыт-



ный ход в обширное подземелье, где не раз в седую старину собирались для заговоров против врагов Фландрии и ее свободы фламандские патриоты. Уверяли, что подземный зал занимал всю площадь под домом и имел узкий выход на левый берег.

В городе и в окрестностях было вообще много гротов, подземных ходов, пещер. Семья же ван-Экенов из рода в род, — неизвестно, по какой ли разумной причине или по суеверию, или из ненужной, казалось, в мирные дни предосторожности, — всегда решительно отрицала существование подземелья под своим домом и подземного хода к другому берегу ручья. Говорили даже, что будто сохранение этой тайны завещалось от отца к сыну. Замечательно, что никогда ни один из ван-Экенов не признался в этом. И даже никто из малых детей семьи ни разу не проговорился. Недаром ван-Экены соединяли в себе фламандскую пастороженность с валонской верностью слову. У ван-Экенов была в роду традиция смешанных браков; фламандцы по мужской линии, они женились на валонках. Старший брат Альберта, Матье, не найдя невесты-валонки в своем городе, ни в окрестностях, ездил на поиски подруги жизни в валонский городок Бэнш, куда, следуя средневековому обычаю, съезжались в духов день женихи со всей Бельгии для выбора невест. Альберт же в сорок лет женат еще не был.

Вслед за знаменем каменщиков и за табуретамп из пивной в полутемную комнату была принесена резная из дерева работа неизвестного валонского мастера, представлявшая медведицу арденских лесов с медвежатами. Медведица была поставлена у потайного входа в подземелье и служила ему сокрытием. Так было положено начало собиранию городских реликвий в доме ван-Экенов.

К Альберту люди несли с улиц, с площадей, из общественных зданий все, что служило памятью о

прошлом и что надо было предохранить от разрушения или осквернения.

Постоянно гонимые, жители города как-то вдруг поверили, что дом ван-Экенов станет надежным пристанищем для городских святых. Может быть, эта вера возникла оттого, что ван-Экены истари были уважаемой семьей в городе.

Дед ван-Экенов принял участие в движении южных провинций за отделение от Нидерландов и, несмотря на свое фламандское происхождение, считался своим и надежным человеком среди деятелей временного правительства революции 1830 года. Мемориальная доска на доме ван-Экенов свидетельствовала об его заслугах в борьбе за независимость Бельгии.

Отец Матье и Альберта в восьмидесятых годах был среди зачинателей гентского рабочего кооперативного движения, дружил с популярным во Фландрии рабочим вождем, Анзеле, и основал в родном городе кооперативный «Народный дом».

Старший брат Альберта, сорокавосемилетний Матье ван-Экен, еще в прошлую европейскую войну двадцатилетним юношей стал известен на всю Бельгию как один из неуловимых руководителей тайных обществ, переправлявших в Англию, скрытно от немцев, кружным путем через голландскую границу, молодых бельгийцев, добровольцев, для службы в бельгийских войсках. Бельгийцы сражались бок о бок с английской армией на оставшемся не занятом немцами маленьком клочке бельгийской земли. В теперешнюю же войну Матье, — слывший самым выдающимся заводским мастером старинной ружейной фирмы, — с приходом немцев внезапно исчез из родного города, не успев захватить с собою жену, и, рассказывали, сделался под чужим именем организатором антигерманского саботажа на заводах Вервье, Эрбесталя и Льежа.

Самый младший из рода ван-Экенов, сын Матье, двадцатидвухлетний лейтенант воздушного флота. Ренэ ван-Экен, сражался против немцев с первого дня нашествия. При капитуляции армии он оказался в числе тех, кто не захотел сложить оружие. О дальнейшей судьбе молодого ван-Экена доходили в город противоречивые слухи, — по одним, Ренэ ван-Экен, переправившись в Англию, продолжал участвовать в войне, по другим, — он попал в плен под Дюнкерком, по третьим, — Ренэ вынужден был остаться в Бельгии и, подобно своему отцу, Матье ван-Экену, вел теперь подпольную борьбу против немцев. Последний слух был подтвержден несколько раз и различными людьми, заслуживающими доверия. Мать Ренэ, Мария ван-Экен, жила в постоянной вере, что сын и муж внезапно появятся и найдут способы, как вывезти семью из местности, занятой неприятелем.

Теперь, когда город оказался в беде, вера в ван-Экенов была для горожан чуть не единственным светлым огоньком, теплившимся во мраке. Сам же Альберт ван-Экен ощутил народное доверие как бремя. С той поры, как он вообразил, что облечен высокой миссией хранителя и оберегателя реликвий прошлого от рук захватчиков, все его поступки стали связанными. Он потерял свободу суждений и действий. Альберт стал считать своей обязанностью отныне избегать каких-либо столкновений с немцами.

Всеми силами он хотел суеверно умилостивить судьбу. Он старался не попадаться на глаза завоевателям. Он не прерывал своей работы садовода; он не изменил распорядка своего дня и продолжал трудиться в оранжереях и на грядках, как трудился раньше.

Но судьба вела Альберта на столкновение с чужеземными хозяевами города. Однажды в сумерки, когда Альберт работал около яблонь, Луиза привела

к нему сторожа из круглой башни, сохранившейся от замка времен испанского владычества. Старик положил перед Альбертом небольшой, но увесистый мешок. Старик задыхался, руки его тряслись.

— Я еле донес: ноги не идут, подгибаются; боялся я, что догонит фельдфебель Магуна и отнимет.

В мешке была пачка архивных городских дел. Сторож рассказал, что немцы топят печи старыми бумагами, в которых записана история города.

— Я пятьдесят лет стерегу паши архивы, и ко мне со всего мира приезжали ученые люди доучиваться по этим бумагам. Даже из Америки наведывались... А немцы жгут. Я сказал фельдфебелю Магуне: «Вместо архивов бросьте меня самого в печку». Он же мне на это: «Ты еще сыроват, старик, дымить будешь. Подсохни немножко, тогда брошу и тебя». Изверг! Я и пришел умолять вас. Вы — сын ван-Экена. Спасите, что можете, и внуки поблагодарят вас. — Старик прослезился.

Вечером, запершись в своем тихом кабинете, Альберт с благоговением стал разбирать пожелтевшие листы старинных городских записей.

Многое открылось перед ним из забытого повседневья далеких времен.

В деловой переписке мэра города с коммунальным управлением он прочитал о самоотверженном поступке восемнадцатилетней девушки, вытащившей из огня трех посторонних ей детей во время большого пожара в семидесятых годах. Когда девушка выносила из горящего здания третьего ребенка, ее волосы и платье уже пылали. Вся объятая пламенем, она бросилась по лугу к ручью. Но, не добежав, упала, сердце ее перестало биться. Альберту стало стыдно, что он, дожив до сорока лет, не знал, почему улица, соседняя с той, где он родился, называется улицей «Пламенеющей девушки». Ранее он полагал,

что это история какой-то пламенной любви. Впрочем, так оно и оказалось: это действительно была история пламенной любви к человеку.

Альберт занялся спасением архивов, еще оставшихся в круглой башне. Несколько раз он прокрадывался в башню и уносил оттуда связки старых бумаг, сколько мог поднять.

Вскоре Альберт был предупрежден сторожем, что фельдфебель Магуна запретил кому бы то ни было входить в помещения, принадлежащие к круглой башне, под угрозой расстрела на месте. Несмотря на опасность, Альберт, не переждав и одного вечера, снова отправился в башню. Он спешил, ему хотелось отыскать в архивах подробности о деле доктора, лечившего бесплатно бедных во время страшной болезни в шестидесятых годах, а затем павшего последней жертвой эпидемии, когда люди уже праздновали избавление города от занесенной заразы. Альберт знал о зверской беспощадности Магуны, но все-таки пошел к сторожу в башню, рискуя жизнью ради связки старых бумаг. Альбертом уже овладевала страсть к собиранию материалов по истории города.

Читая архивы, он находил рядом со следами жестокосердия, скупости и стяжательства отмены доблестных и бескорыстных поступков. И история города предстала перед ним как еще никем не прочитанная и никем еще не рассказанная волшебная сказка о вечном цветении людской любви и людского величия духа.

Альберт с трепетом смотрел, как чужие равнодушные руки прикасаются к его родным святыням и оскорбляют их этим прикосновением. Иногда его сердце замирало от боли даже только при виде того, как солдатские немецкие сапоги топчут те тропы, где ступала нога благороднейших труженников и украсителей жизни. Альберт стал мучительно ревновать свой город к чужеземным захватчикам.

Он отыскивал и приносил в свое хранилище всяческие свидетельства родной старины. Число собранных им реликвий за лето дошло до тридцати семи. С наступлением длинных осенних и зимних вечеров он начал составлять описание отдельных домов и их жителей, решив составить хроникку всех благородных и возвышенных деяний, совершенных в городе за несколько последних десятилетий.

Помощницей Альберту в составлении летописи городских домов и семей сделалась его тетка Луиза. Луиза родилась и прожила в городе всю свою жизнь, никуда не выезжая. Ей было шестьдесят восемь лет. Она хорошо знала все события семейной жизни в городе, но, впрочем, только лишь за последние сорок пять лет, то есть с момента своего переезда в дом отца ван-Экена, ее двоюродного брата. До двадцати же трех лет она жила по ту сторону ручья, это было всего в трехстах метрах от дома ван-Экенов; но считалось то место пригородом. В пригороде же нестарик сложился у степенных людей обычай возможно реже бывать в городе и возможно меньше интересоваться беспорядочной жизнью горожан и еще меньше водить с ними знакомства.

До двадцати трех лет Луиза ни разу не была на Гранд Плясе, на той самой площади, о красоте которой писалось в путеводителях всего мира. До двадцати трех лет она не видала ни ратуши, ни локала каменщиков, ни остатков замка испанского наместника с круглой башней. До двадцати трех лет ей не встретилось надобности зайти в эти места, хотя по четвергам на Гранд Плясе, по заведенному со средних веков обычаю, происходил торг овощами и рыбой. Но пригород, где проживала семья Луизы, тяготел к «Новому рынку», построенному на той стороне ручья три столетия тому назад. Без надобности же Луизу в город не пускали.

Основной заповедью жизни для Луизы было со-

блюденне обычаев старшны. Нелегко удалось Альберту уговорить Луизу, когда ему понадобилась в первый раз ее помощь при переносе деревянных сидений из пивной «Под крылом ласточки». Ей всегда казалось стыдным пойти в необычное место, необычной дорогой, за необычным делом. Ее душа трепетала перед всем непривычным. Однажды, в ранней своей юности, Альберт без спросу тетки переставил в ее комнате комод. Сердце Луизы сжалось от темных предчувствий и тревоги. Всякую перемену она воспринимала как вызов судьбе и почти как грех. Она не вышла замуж и осталась старой девицей, по видимому, из боязни перемен.

Луиза, оставшись сиротой, вела хозяйство в доме бан-Экенов. Она не любила старшего, Матье, за то, что он делал все наперекор обычаю и судьбе. Младшему, Альберту, она покровительствовала. Ее огорчало только, что Альберт не был женат:

— Так заведено, что мужчина должен жениться, а женщине лучше оставаться в девицах.

Нежность же свою и любовь Луиза отдала жене Матье, Марии, которую она называла уменьшительно на фламандский манер «Марике». Рассудком Луиза давно решила, что должна чуждаться Марии, — про Марию рассказывали, что она не сберегла свою чистоту до брака с Матье. Луиза хотела презирать Марию, но не могла: так та была сердцем чиста, так полна простоты и так приветлива в своей мягкой, ласковой улыбке. Луиза считала грехом, что полюбила Марию. Она часто плакала о том по ночам. На исповеди она покаялась священнику в этом грехе. Священник сказал ей, что обычаем не заведено, чтоб женщина плакала по ночам.

Природа отпустила Луизе неиссякаемые силы. Луиза никогда не знала никаких болезней. Она никогда не уставала, никогда не теряла ровности духа.

Казалось, Луиза сильна оттого, что очень глубоко в родной почве залегли корни ее существования. Дни Луизы за все шестьдесят восемь лет жизни были однообразны. Она была как бы прикована к небольшому уголку земли, двигаясь только от кухни до столовой и от столовой до кухни. С юности до старости каждую пятницу она мыла тротуар перед домом и стены дома до высоты бельэтажа; каждую субботу она варила мясной бульон на два дня; каждое воскресенье ходила к мессе; каждый понедельник и вторник шила и чинила одежду; каждую среду бывала на кладбище за холмом у ручья; каждый четверг давала отчет Альберту в деньгах.

Как дерево прикреплено корнями к месту, где выросло, и только вершина его клонится в стороны от набегающего ветра, не будучи в силах сорваться и лететь вдаль, так и Луиза была крепко привязана к узкому кругу своего обихода. И даже мысли ее не улетали за положенную ей тесную грань. Луиза была подобна сильному растению, посаженному в узком боченке. Ежедневно и всечасно заведенный обиход срезал у этого растения все непокорные ветви. Но зато в самой глубине, у корней ее бытия, никогда не высыхал родник животворящей силы: она любила родные обычаи, родной город, родную землю. В комнате Луизы со школьных лет висела на стенке карта с заглавием, которое всегда волновало ее сердце: «Карта, провозглашающая величие маленькой Бельгии».

Когда Луиза поняла, почему Альберт собирает городские реликвии, ей показалось, что самой судьбой она к тому предназначена от рождения. Она начала с того, что перенесла в «музей» «Карту, провозглашающую величие маленькой Бельгии». Она считала, что это тоже реликвия.

Луиза всей душой отдалась собиранию городской старины. Но ей был страшен слом всех ее заведен-



ных привычек. До шестидесяти восьми лет у нее не было седин, за одну неделю она вся поседела. Луизу мучило беспокойство за сохранность предметов, в которых теперь воплотилась для нее вся близкая и любимая родная среда.

Альберт тоже жил в постоянной тревоге, ожидая, что неминуемо рука завоевателей достигнет оберегаемые им сокровища отечественной старины и славы.

В первые дни немецкого нашествия он вместе со всеми верил, что, по примеру прошлой войны, рано или поздно немцев заставят уйти из города. Затем надежды на избавление потускнели; затем снова оживились при сопротивлении русских. Когда же началась возвещенная немцами решающая битва под Москвою, Альберт почувствовал, что его личная судьба роковым образом связана с исходом того, что совершается там, на полях далекой России. Обдумывая наедине, как уберечь реликвии города, Альберт в эти дни все решал на-двое: на случай, если взятие Москвы предрешит победу немцев в войне, и на случай, если русские устоят и победа будет вырвана из рук немцев.

Но опасения никогда не покидали Альберта: его мучило ноющее предчувствие, что придет день... И вот этот день настал — лучше бы он никогда не настаивал, — враги вошли в его дом; и они вошли раньше, чем судьба решила исход великой битвы под Москвою. Как действовать ему теперь, чтобы сберечь хранимые сокровища?

★ ★ ★

Альберт вышел к немцам замедленным, спокойным, ровным шагом. Он решил все внимание сосредоточить на том, чтоб не обнаружить ни тревоги, ни поспешного любопытства, ни торопливой любезности.

Судя по форме, один немец был майор, другой —

капитан. Майор был лет тридцати двух, а капитан годам к пятидесяти восьми. Оба сидели в креслах. Майор погрузился глубоко, откинувшись к спинке, заложив ногу за ногу, никуда не торопясь, ничего не ожидая; а капитан еле приткнулся на краешке, подавшись вперед, весь в нетерпении, как человек, желающий скорее найти разгадку поставленной задачи. Майор поигрывал стэком. Этот стэк — стальной, гладкий, блестящий, с круглым литым набалдашником — был известен всему городу, хотя майор еще ни разу никого стэком в городе не ударил.

Майор и капитан — оба коренные немцы — физически друг от друга резко отличались.

Капитан приближался к классическому типу тевтона, был светловолос, черепом квадратен, лицом одутловат, повидимому, от прилежанья к пиву, телом рыхл и грузен; во взгляде у него была — тоже классическая для тевтона — смесь добродушия с загаенной отчужденностью, и хитрости с тупой наивностью.

Майор же был черен, сух, черепом продолговат, в движениях порывист, самоуверен по осанке, а по взгляду бездумен, нагл и вызывающ.

Ван-Экен встретил немцев, как делал всегда с нежелательными посетителями: вместо поклона он без слов, жестом пригласил их сесть, — хоть посетители уже сидели, — дав этим понять, что прежде, чем садиться, им следовало подождать приглашенья к тому со стороны хозяина и что хозяин намерен оставаться в границах только обязательной вежливости и рассчитывает на предельную краткость визита.

Капитана такой прием смутил. Он поднялся и привстал было, но майор стукнул стэком об пол, капитан остался сидеть и даже немного подвинулся в глубину кресла. Майор, довольный, что капитан понял его, в упор посмотрел на Альберта. Ван-Экен

неожиданно для себя слегка поклонился. Майор нагло улыбнулся и не ответил на поклон. Альберт почувствовал, что перед ним враги и что первое столкновение с ними он проиграл. Альберт остался стоять, хотя рассудок говорил ему, что надо сесть.

— Отведите нас в ваш музей. Вы слышите? — сказал майор.

— В какой мой музей? — спросил Альберт.

— Вы слышите или не слышите? — повторил майор.

Ван-Экен ужаснулся: предчувствие оправдалось, — немцы пришли за реликвиями города. Альберт оперся о стол и опустился в кресло.

— Я вас садиться не приглашал. Вы слышите? — проговорил майор. Альберт в смущении встал. Майор захохотал. Затем он взмахнул стэком и весело поднялся с кресла.

— Показывайте, как пройти в музей.

— Что вы собираетесь делать? Это же реликвии! — сказал Альберт.

— А что такое — реликвии? — с веселой наивностью спросил майор, любуясь ужасом Альберта. — Это — свинские глупости господни, как вас зовут, — майор деланно захохотал.

Поймав взгляд Альберта, возбужденный тревожным ожиданием несчастья, капитан сказал:

— Господин ван-Экен, успокойтесь. Мы пришли к вам с приятной для вас миссией. А ваш музей мы хотим осмотреть только из любопытства и с полным уважением к вашей коллекции.

★ ★ ★

За час перед тем, как отправиться к ван-Экену, майор и капитан несколько между собою поспорили.

Майор предлагал вызвать Альберта ван-Экена в комендатуру:

— ...и от моего имени приказать...

Капитан же хотел добиться от ван-Экена добровольного согласия.

Капитану не удалось бы поколебать майора. Не оттого, что майор был упрям, но майор не любил рассуждать и потому всегда держался первого мнения, которое ему приходило в голову. Однако положение на этот раз создалось острое.

Утром было получено из штаба секретное распоряжение. Командование предписывало «привести весь подвижной состав местного железнодорожного узла в совершенную исправность и держать его абсолютно готовым к выполнению чрезвычайных и спешных перебросок войск». Но как раз за последние две-три недели усилился саботаж и стал распространяться «неизвестными лицами» призыв «работать медленно». Какие меры надо было предпринять для борьбы с саботажем и для срочного выполнения приказа командования, майору не было ясно. Майор побаивался, что, в случае неудачи, он может быть уволен с поста начальника гарнизона и перемещен на Восточный фронт. Приходилось поэтому прислушиваться к советам сослуживцев и даже к мнению не любимого майором капитана.

— Что же, вы будете, — спросил майор, — соблазнять этого ван-Экена почетом, деньгами, комфортом? Он — глухой садовод. По-моему, для него достаточно одного аргумента: если ты, ван-Экен, свинья грязная, не согласишься, то я разможжу тебе голову.

Капитан возражал:

— Вы, майор, преувеличиваете силу страха. Люди преодолевают страх, и тогда угроза, даже угроза смерти, только делает их более упрямыми и более решительными.

— Но позвольте, капитан, неужели вы рассчитываете обмануть ван-Экена логическими доводами?

— Действительно, я все больше убеждаюсь, что вы с вами, уважаемый майор, разных не только поко-

лений, но и школ. Вам не известен опыт прошлой оккупации. А я три с половиной года администрировал в прошлую войну на западе в занятых областях. О, каких мы результатов достигали тогда испытанными методами старой прусской администрации, уверяю вас, майор! Как вам определить эти методы? На современном языке я бы назвал это тотальным воздействием. Вы хотите знать, что это такое — тотальное или, можно назвать, синтетическое воздействие? Это когда вы действуете одновременно всесторонними средствами и смело отбрасываете все, что может как-нибудь затруднить путь к успеху. Вы действуете сразу и страхом, и лаской, и лестью, и оскорблением, и логической риторикой, и звериным рычанием; обещанием дружбы и угрозой расправы; даже лирикой, даже нежностью и вместе плевком в лицо. Главное — одновременность всех средств! Вы ударяете сразу по всем клавишам и выстукиваете какофоническую гамму. Пусть ваш объект чувствует и холод и жар одновременно. Пусть ощущает сразу все противоположности: и возможность вашей дружбы, и возможность вашей мести. А когда это все сольется в один сплошной кошмар, то вашему объекту от вас уже никуда не уйти. Вы поняли меня, майор?

Майор не понял. Однако майор не только не любил сам рассуждать, но и уставал от рассуждений собеседников. К тому же он опасался, что по обыкновению капитан начнет цитировать свой написанный перед войной ученый труд, который, по мнению капитана, должен облегчить ему занятие должности следователя государственной тайной полиции. В этом труде, озаглавленном «Тотальное воздействие на допрашиваемого. Практические методы подавления воли и приемы психической тренировки людей низших рас для производственных целей империи», было 222 страницы, из которых 37 страниц под арабской нумерацией составляли цитаты и текст, принадлежа-

ций самому капитану, а остальные 185 страниц, пронумерованные римскими цифрами, содержали: а) перечень цитированных трудов, б) указатель имен, в) алфавитный предметный указатель, г) таблицы и схемы.

Майор предпочел сказать, что он понял капитана и что вполне убедился в правоте его мнения. Майор знал также, что если дать капитану одержать победу в ученом споре о «воздействии на допрашиваемых», то капитан обязательно угостит собеседника вином из своей богатой коллекции, набранной им в лучших бельгийских погребах.

Так оно и вышло. Довольный ответом майора, капитан приказал подать к столу бургонского белого вина марки «Грав».

— Я полюбил «Грав» еще в прошлую оккупацию, — сказал капитан, — я стоял тогда в Монсе, в доме одного негодянта, большого любителя бургонского вина. Он выписывал его из Франции бочками, — для себя, не для торговли. Мы застали у него полный погреб. И вот тогда я убедился, что из всех сортов бургонского белый «Грав» самый отличный. Он густ, как масло; тонко ароматен, как ранние весенние цветы; золотист, как холодный осенний закат; и пьянит, как любовь тридцатипятилетней женщины, — крепко и бестревожно.

— Вы поэт, капитан.

— Так точно, мой симпатичный молодой друг, признаюсь, я всегда немножко был поэтом.

Майор, чокнувшись, пропел:

Графы все лакают водку,  
Только теле-граф один не пьет.

И оба расхохотались. За стаканом густого, маслянистого «Грава» они условились распределить в предстоящем походе к ван-Экену между собою ролисообразно склонности и вкусу каждого из них.

Когда Альберт ввел майора и капитана в свой музей в нижнем этаже, майор сказал:

— Здесь темно.

Альберт включил свет.

Майор оглядел комнату и пожал плечами.

— Но это все какая-то ненужная рухлядь. Например, вот это... что это за обезьяны? Или ведьмы? Или шлюхи из публичного дома?.. Что это такое, я спрашиваю?

— Это две химеры с первого балкона нашего собора святой Юстины.

— Почему у одной провалился нос? Она сифилитичка?

— У нее нос отбил немецкий солдат выстрелом из револьвера.

— Не рассказывайте мне глупостей про немецких солдат. Вы слышите?

Майор подошел к скульптурной группе, изображающей медведицу с медвежатами.

— Вот эта вещичка мне нравится больше. Но почему эта медведица так угрожающе подняла лапу?

— Она хочет защитить своих детей.

— От кого? Кто на нее нападает?

— Очевидно, враг.

— Но где? Его не видно. Мастер, который делал дурак.

— Эта группа выдолблена из дерева четыреста лет тому назад.

— Чем старей, тем хуже. Вот мы сейчас ее поновим.

Майор порылся в карманах, достал порнографическую карточку и вставил карточку в поднятую лапу медведицы. Полюбовавшись, он засмеялся. Засмеялся и капитан.

Майор, восхищенный своей проделкой, оглянулся

на Альберта, ожидая одобрения. Альберт негодовал, но против воли улыбнулся. Майор, довольный, ударил Альберта по плечу.

— Я вижу, ты не дурак и неплохой парень. Вот и будешь у меня бургомистром. Ты слышишь?

Это было так неожиданно, что Альберт не понял и не мог принять всерьез. Тогда вмешался капитан:

— Мы пришли предложить вам пост мэра города.

Альберт молчал. Все свои силы он собрал, чтоб молчать, чтоб не сказать ничего пошлешного, неосторожного, чтоб не случилось, как с произвольной улыбкой.

— Ты слышишь? — повторил майор. — А если ты будешь, свинская собака, швайне хунд, отказываться, то я сделаю из тебя и из твоего этого вонючего хлама тертое несоленое пюре без подливки. Вот так!

Майор размахнулся и стальным набалдашником стэка отшиб голову одному из деревянных медвежат. А потом близко подошел к ван-Экену, поднес к самым его глазам стэк и покрутил набалдашником. Альберт тихо сказал:

— Я не согласен.

— Ты не согласен?

Майор, отступив шага на два, взмахнул стэком. Альберт уже ощутил боль от еще не нанесенного удара. Он готов был ко всему, хотя не знал, что именно сделает, если майор ударит. Но майор не ударил. Он улыбнулся.

— Поди-ка ты сюда.

Альберту стало страшно от этой улыбки. И еще страшней стало, когда заметил, что стоявший в стороне капитан зевнул и выразил на лице скуку.

— Поди-ка ты поближе ко мне.

Альберт шагнул к майору, ощущая, что он как будто перешагивает через бездонную пропасть. Майор спокойно, неторопливо взял Альберта под руку и пошел с ним к выходу из комнаты.



— Может быть, ты мне покажешь еще кое-что из сокровищ твоего дома, ван-Экен, скажем, жену твоего брата, а? И скажи мне, ван-Экен, неужели я должен перечислить тебе все удовольствия, которые тебя ожидают в случае отказа? Желаете, чтоб я прочитал тебе этот веселый каталог? Хочешь по порядку? Тебе очень интересно будет знать, что теперь случится с тобой и в какой последовательности.

Альберт молчал. Майор вел его за собой. Альберт повиновался. Майор вывел его в переднюю.

В это мгновение из-за лестницы выбежала Марике и быстро скрылась в глубине коридора.

— Что это за прелестная тень? Это, как видно, и есть то существо, которое меня сейчас интересует и которому я могу предсказать веселую судьбу на случай, если ты, ван-Экен, будешь упрямым ослом.

Не дожидаясь ответа Альберта, майор быстро пошел по коридору и открыл дверь той комнаты, куда вошла Марике.

— Это комната женщины, — сказал Альберт.

— Тем интересней. Зайдемте, капитан, осмотрим эту комнату и, кстати, ее обитательницу.

Они вошли. Альберт вошел за ними. Комната была пуста, из нее был другой выход.

— Ушла хозяйка. Ну и черт с ней. Уютная комната, капитан. Давно мы с вами не бывали в такой обстановке. Хорошими духами пахнет. Кто эта женщина?

— Это жена моего старшего брата, Матье ван-Экена.

— Значит, я не ошибся. Ее имя?

— Марп.

— Возраст?

— Тридцать девять лет.

— Хороший возраст. Будем иметь в виду, капитан. Не так ли? Жаль только, что она родственница наше-

го будущего бургомистра, почтенного господина Альберта ван-Экема, а то бы она нам пропела трагедия, капитан. И станцовала бы. Как думаешь, бургомистр, станцовала бы? А это ее портрет? Полюбуйтесь, капитан, вы ведь знаток женщины.

Капитан оглядел портрет со всех сторон: и сбоку, и вблизи, и издали, и смотрел сквозь кулак, и прищурялся.

— Совершенный Рубенс! — сказал он.

Майор не понял.

— Я хочу сказать, дорогой майор, что она дородная, но легка и грациозна. В ней есть приятная округлость и полнота. Но нет тяжеловесного ожиренья, — чувствуются мускулы и сила... У ней здоровое сердце. Она может даже бегать, если захочет побокетничать и заставить любовника гоняться за нею. Посмотрите, какая кожа, — белизна лица! И, конечно, отменная бархатистость. А в волосах какой золотой отлив! А ноги! Это чудо какие крепкие ноги! И не спички какие-нибудь, а могучие колонны, но подвижны и резвы. И бедра высокие. Я люблю у женщины длинные ноги. А талия, — обратите внимание, дорогой майор, какая высокая талия, начинается почти под лопатками!

— Вы немножко распустили слюни. Но вы, конечно, великодушный бурш, капитан! Жаль только, староваты. Прошу помнить: вам здесь не следует промышлять. Предоставьте это дело другим.

Капитан злобно взглянул на майора, но смолчал. Майор взял книжку со стола.

— Что она читает, эта женщина? Ферхаерен! Стихи!

— Не «фау», а «в», дорогой майор, к тому же фламандские «ае» читаются, как «а»: «Верхарн».

— Почему вы говорите это с такой злобой, капитан? Разве я вас чем обидел? Я просто читаю, как написано: Ферхаерен.

Майор, выходя из комнаты, снова взял под руку Альберта и сказал:

— Так продолжим наш разговор, ван-Экен. Я дам тебе срок на размышление. Подумай о твоих реликвиях в той комнате и о реликвии живой, в этой комнате. Слышишь? И взвесь, что реликвии, живые и мертвые, могут сильно пострадать, если ты откажешься стать бургомистром. Тебе капитан объяснит, что от тебя требуется и что тебе надо делать. Мне же это все наскучило довольно.

У дверей майор остановился.

— А где же капитан?

Капитана в передней не оказалось. Как только майор и Альберт вышли и капитан остался один, он подошел к портрету Марии, долго на него смотрел, чмокнул губами, повертел пальцами в воздухе, протянул руку и, сладострастно дрожа, провел ладонью по холсту.

Послышался шаг. Кто-то вошел в комнату через маленькую дверцу, скрытую за юртьерой в глубине комнаты. Капитан почувствовал, что на него смотрят, обернулся.

Перед ним стояла Мария. Капитан, находясь еще во власти вождедений, которым он отдался, когда был один, пагло ухмыльнулся в лицо Марии.

Мария, увидав эту грязную, оскорбительную улыбку, замерла и остановилась перед капитаном. Казалось, она разглядела в этой улыбке что-то страшное и ей знакомое.

— Неужели это тот самый? — ужаснулась Марике.

— Что вы хотите сказать? — удивился капитан.

Марике размахнулась и ударила капитана по щеке. В глазах ее были ненависть и отвращение.

Капитан сразу струсил, иркнулся и побежал вприпрыжку, как бы защищаясь от ударов.

В передней он снова прибодрился. Видя, что майор уже уходит, он нарочно замедлил шаг, чтоб не по-

настаться тому на глаза: ему казалось, что следы пощечины еще горят на его щеке. И еще ему казалось, что он где-то когда-то видел Марике; он еще не знал, где и когда это было, но это смутное воспоминание тревожило его и пугало.

Майор вышел, не оглядываясь ни на Альберта, ни на капитана. Альберт видел в открывшуюся дверь, как два солдата, поджидавшие майора наружи у входа, вытянулись, козырнули, затем пошли было вслед за майором, но майор сделал им знак остаться.

★   ★   ★

— Ну вот, мы теперь с вами и поговорим, господин ван-Экен, — сказал капитан, когда они остались вдвоем с Альбертом.

— Нам говорить больше не о чем, — ответил Альберт, — я уже сказал вашему начальнику, что не согласен быть бургомистром по назначению завоевателей и когда в городе стоят неприятельские войска. Можете делать со мной что вам угодно.

— Я очень рад, господин ван-Экен, что разговор вышел такой ясный и, главное, такой короткий. Разумеется, вы совершенно свободны решать как вам угодно. Нам придется назначить другого народного избранника. А вас в интересах безопасности нашей армии я вынужден буду арестовать.

— Я это знал, господин капитан. Я к этому готов.

— Вы пойманы с поличным и обвиняетесь в краже, господин ван-Экен.

— Я никогда ничего не крад.

— Вы присвоили себе имущество, принадлежащее вашему городу.

— Этому никто не поверит.

— В вашем городе, может быть, кое-кто усомнится, но всюду большинство поверит. Люди охотно верят, когда почтенные деятели объявляются ворами и прохвостами.

— Ах, вот как! Прежде чем убить вашу жертву, вы хотите ее опозорить?

— Убить! Кто же это вам сказал? Я вам от имени комендатуры обещаю, что ни один волос не упадет с вашей головы. Для уголовных элементов у нас режим такой же, как был до войны. Воров не коснулись кары военного времени. Мы вам разрешим свиданья, разрешим делать покупки за ваши собственные деньги.

Капитан вдруг рассмеялся:

— Все сложится очень весело! Мы через газеты дадим знать населению, что вы содержитесь как уголовный преступник, на улучшенном режиме. Затем вскорости суд вас приговорит к пяти годам тюрьмы за кражу. А затем... слушайте, слушайте, — это самое интересное, — мы сейчас же выпустим вас из тюрьмы! Не ожидали такого поворота? Мы объясним, что вы амнистированы нами ввиду серьезных политических услуг, которые вы оказали немецкому командованию. Интересно? Теперь судите сами: согласитесь вы стать мэром и работать с нами или не согласитесь, вы все равно будете представлены перед вашими соотечественниками как наш агент! Но только мы уж вас не назначим мэром после того, как вы посидите в тюрьме за кражу. Да, за кражу, господин ван-Экен.

Капитан снова рассмеялся. И как будто непритворным смехом. Уж очень он был доволен своей выдумкой, самим собой и своей «старой школой прусской администрации».

Альберт стоял молча. Капитан, не скрывая, нагло его рассматривал глаза в глаза. Альберт потушил взгляд и стал смотреть в пол. В одно мгновение ему представилось, как все сложится дальше: как содрогнутся близкие, как отвернется от него город, как он бессилен будет оправдаться перед своею родиной, какая страшная тоска раздавит его сердце, как он умрет, брошенный и презираемый всеми.

«Но неужели, — подумал он, — такая грубая прово-

кация может удалиться? Да если б все его прошлое оказалось недостаточным, чтоб опровергнуть клевету, неужели он, Альберт, не найдет возможностей заранее ее обезвредить и предупредить? Да он вцепится немцам в горло! Да он погибнет раньше, чем немцы успеют привести свой план в действие! Да он вот сейчас задавит этого подлеца-капитана, стоящего перед ним!»

Альберт поднял голову, посмотрел на капитана глаза в глаза. И из глубины глаз спокойно улыбнулся. То была действительно непритворная усмешка. В ней было выражение непоколебимой уверенности: Капитан отвел глаза.

Капитан ждал, что скажет Альберт. Но Альберт ничего не сказал, — улыбка спокойствия и уверенности светилась на его лице. Капитан жестом пригласил его сесть.

— Да ведь я пошутил, господин ван-Экен. Мы никогда не пойдем на то, чтоб вас компрометировать. Нам нужны ваше честное имя и ваш авторитет среди сограждан. Я скажу вам больше: мы намеренно содействовали укреплению вашей репутации смелого и независимого человека. Мы ведь знали, что вы собираете коллекцию городских реликвий. И мы смотрели на это сквозь пальцы. Вас проследил однажды мой штабс-фельдфебель Магуна около круглой башни. Я приказал тогда вас испугать через сторожа, но не наказывать вас. Тогда же я распорядился, чтоб фельдфебель Магуна начал расспрашивать жителей города о вас и выражать удивление перед вашей влиятельностью. Мне хотелось, чтоб в городе говорили: «Смотрите, какой независимый человек господин ван-Экен, даже немецкая комендатура считается с господином ван-Экеном». Откровенно, это мой старый метод. Я применял его еще в прошлую оккупацию. Может быть, найдутся князьки и idiotки, которые усмотрят в моем расчете на вас что-то плохое: даже.

может быть, назовут мое поведение провокацией. Я же не вижу ничего плохого в моем отношении к вам. Вы действительно человек отменный, безукоризненно честный и достойный уважения. И действительно, вы нам очень нужны. Нужны нам так же, я это всегда буду утверждать, как мы нужны вам. Хотите откровенности полной и абсолютно доверительной? Молчите? Все равно, я вам скажу. Может быть, майор уедет отсюда. А я останусь. Мы хотим перебросить на Восточный фронт на короткое время часть гарнизона, который стоит в вашем городе. Но, может быть, мы этого и не сделаем. Отчего и от кого это зависит? Отчасти и от вас, господин ван-Экен! Какую часть гарнизона здесь оставить? Большую или малую? Опять зависит отчасти и от вас, господин ван-Экен. Нам нужен авторитетный мэр, приказы которого жители будут исполнять и уважать. Нам нужен мэр, который сумеет заставить город добросовестно трудиться. Понимаете, какой мэр нам нужен? Такой, как вы! Одно ваше имя внесет успокоение в обеспокоенные умы и докажет людям, что мы хотим от них только прилежного труда и лояльного подчинения. Вот основа дружбы с нами. Я прошу вас, представьте себе, господин ван-Экен, — здесь остается маленький гарнизон! Чем он меньше, тем легче военные обложения, налоги, поставки на оккупационную армию натурой, тем полнее город будет наслаждаться мирной обстановкой. Это уже не нам, а вам выгодно. И еще скажу: недели через две-три, когда будет взята Москва и русские капитулируют, как капитулировала Франция и ваша уважаемая страна, гарнизон должен будет вернуться к вам в город. Но он, черт возьми, может и не вернуться вовсе, если вы будете держать город в крепких руках. Это будет очень хорошо для города! А там скоро будет всеобщий мир под эгидой Германии, и ваш город окажется во всей новой Европе наименее пострадавшим от войны. От кого, от кого же все это будет зависеть? От вас, от вас, дорогой госпо-

дня ван-Экен. Если вы будете поддерживать в городе дисциплину, порядок, мир, хорошую работу, преданность Германии, то все пойдет прекрасно с первого же дня вашего вступления в должность. Я искренне к вам расположен, — хотите я прикажу освободить немедленно же от нашего воинского поста пивную «Под крылом ласточки»? Что мне сделать еще для вас, мой милый господин ван-Экен? Я весь к вашим услугам.

Альберт не мог сдержать улыбки.

— Вы очень плохой дипломат, господин капитан, как все немцы. Неужели вы думаете, что я не понимаю, зачем вы то занугиваете меня, то предлагаете мне дружбу... Ведь это все приемы.

Капитан с радостной поспешностью подтвердил:

— Верно, только приемы, только воздействие. Но я их применяю исключительно к умным людям. Неужели вы хотели бы, чтоб вас раздели, отхлестали плеткой, били прикладами по ребрам, вышибли вам зубы, вырвали волосы? Я думаю, вы как умный человек можете это все просто вообразить, взвесить, оценить и избавить себя и нас от лишних хлопот. Впрочем, если вам нравится...

— Напрасно, господин капитан, расточаете ваши таланты. Я не тот, кто вам нужен.

— Вы правы, господин ван-Экен. Оказалось, не я вас, а вы меня убедили: действительно, нам с вами не сойтись. Пойду и доложу об этом господину майору. Он будет огорчен, очень огорчен, что мы разошлись. Вы видели его характер. Может быть, еще раз взвесите и подумаете? А я навещу вас через час.

★ ★ ★

Ничего не сказав ни Луизе ни Марии, Альберт, когда ушел капитан, заперся в музее один. Он сел перед картиной, изображающей мадонну с голубыми глазами. И долго сидел без мыслей, весь погрузившись



в неясную, неосознаваемую сосредоточенность. Знатки считали, что эта картина принадлежит кисти Мёмлинга и создана в конце XV столетия. Альберт вынес ее из ратуши.

Говорили, что голубоокая мадонна была похожа на мать Альберта. Лицо ее было освещено светом весеннего утра, все черты исполнены грации, а на устах сияла улыбка сладостного созерцания, поставившего себя вне страдания и смерти. В глазах мадонны светилась вера, что все злое минет и на земле зацветет безмятежная радость. Так и у матери Альберта всегда жила в глазах спокойная и тихая надежда.

★ ★ ★

После того как Марике ударила капитана, она вбежала в комнату Луизы на мансарде.

— Запри скорее дверь, Луиза.

— Марике, что с тобой? Ты бледна, как будто ты увидела смерть. Ты столкнулась с ними?

— Луиза, запри дверь. Если он придет опять, я не сдамся.

— Про кого ты, Марике? Говорила я тебе — не ходи, не ходи, дорогая, а ты пошла.

— Не могла же я, Луиза, оставить им то, что мне дороже теперь всего на свете, что напоминает мне Ренэ.

— Что же тебя так испугало там, Марике?

— Ох, Луиза. Может быть, это бред. Может быть, это не так. Но мне показалось, что я увидела самое страшное, что было в моей жизни. Но нет, теперь я уж не та. Теперь я не сдамся.

Как ни спрашивала Луиза, она не узнала от Марике никаких подробностей. Марике поинтересовалась, нет ли в доме какого оружия, нет ли в аптечке Луизы какого яду. Луиза сотворила молитву и поклялась про себя не оставлять Марике без помощи, что бы их ни ожидало.

Женщины видели сверху, как ушел вначале майор, как после ушел капитан, а вслед за ним и два сопро-  
вождавших солдата.

Луиза и Марике бросились к Альберту. Но его ка-  
бинет был пуст. Они постучались в музей.

Альберт неохотно расселся со своими думами в  
одиночестве. Он сказал женщинам, что немцы при-  
ходили познакомиться с музеем и что надо держаться  
спокойней.

— Но все-таки будьте готовы ко всему.

Луиза бросилась к Альберту и горько заплакала:

— Мы погибли, Бель-бель? Неужели мы погибли?

Альберт пожал плечами.

— Я не знаю. Я ничего не знаю, тетя Луиза.

— Если бы здесь был Матье или Ренэ, они бы  
знали, что надо делать, — сказала Марике.

— Ах, Марике, король лучше твоего Матье знал  
обо всем и все-таки сдался. Этих иродов, разбойников  
поразит, видно, один только бог. А нам дано лишь  
терпеть и ждать, и молиться, и надеяться. Неужели  
мы погибаем, Бель-бель, брошенные, покинутые всеми  
и оставленные одни на растерзание лютым псам?

Луиза, прильнув к Альберту, омочила его щеку сле-  
зами.

— Не кричите. Луиза. Послушайте обе меня и  
соберите силы. Я советую вам сейчас же покинуть  
дом и уйти как можно дальше отсюда. Иначе вы по-  
губите и себя, и меня.

Марике возмущалась:

— Как? Уйти? Мне уйти из дому, когда в любую  
минуту могут явиться Ренэ или Матье? Да ты с ума  
сошел, Альберт! Никогда. Ни за что. Я жду их каждое  
мгновение. Когда слышу стук, скрип, шорох, я говорю  
себе: это один из них или они оба. Ты представь  
только: я уйду, а они придут, и мы не будем знать,  
где найти друг друга. Я буду бродить по дорогам в  
поисках мужа и сына, а муж и сын будут разыскивать

меня, и, может быть, мы будем ходить по следам друг друга, будем где-то близко один от другого и никогда не встретимся. Нет, я останусь здесь ждать их, что бы ни случилось... Это — единственное место, куда они могут прийти и найти меня. А если ты, Альберт, не знаешь, как тебе поступить в трудную минуту, — спроси себя, как поступили бы Матье или Ренэ в этом случае, так и ты поступай. И тебе будет все ясно, и тебе будет легко.

Луиза по своей боязни перемен и передвижений была рада поддержать Марию.

— И я никуда не пойду из дому. Я умру, если тронусь отсюда.

Оставшись снова один, Альберт пожалел, что с первых шагов взял с немцами резкий и непримиримый тон. Он стал придумывать, как он объяснит, оправдает и смягчит свой отказ от сотрудничества, когда придет капитан за ответом. И ему, наконец, показалось, что он нашел доводы, которые не раздражат немцев, а скорее расположат и убедят их в его, Альберта, беспристрастии.

Прошел час, — капитан не появился. Прошло еще какое-то долгое время, — капитана все не было. Альберт догадался, что это игра, что его хотят заставить пожалеть о последнем отказе от предложенного поста. А догадавшись, Альберт устыдился своих колебаний и решил не сдаваться.

День начинал уже гаснуть. А капитан так и не пришел.

В сумерках около дома остановился немецкий грузовой автомобиль. В дверь с улицы постучали.

Фельдфебель Магуна предъявил Альберту бумагу с печатью комендатуры, за подписью майора: «Ввиду поступивших сведений о том, что вы расхищаете присваиваемое вами городское имущество, предписываю вам сдать германским властям все вещи, украденные вами у городского самоуправления. Против вас воз-

буждено уголовное преследование. Выход из дому вам воспрещается. На случай малейшей попытки к сопротивлению или прекословию, солдатам дан приказ застрелить вас на месте».

Альберт встревожился, но внешне этого не выказал. Фельдфебелю он сказал спокойно:

— Делайте, что вам вздумается.

Магуна приказал солдату стать подле Альберта.

— Смотри, чтоб он не трогался с места. А тронется, — стреляй; если убьешь, получишь стакан коньяку. А ты, эй, бельгиец, стой здесь, пока мы будем грузить, потом распишешься, что все сдал.

Солдат снял с плеча винтовку, подхватил ее подмышку, оглядел Альберта исподлобья и стал у него за спиною.

Два других солдата начали выносить вещи из музея. Альберт стоял около грузовика безучастно.

Какой-то прохожий завернул из-за угла, направляясь к дому ван-Экена. Но, увидав Альберта и подле него немецкого солдата с ружьем, поворотил назад. Магуна велел Альберту отойти от машины и стать в подъезде, чтоб его не видно было с улицы. Солдат, охранявший Альберта, тоже перешел за ним и стал в передней, стукнув прикладом винтовки о каменный пол. Фельдфебель же остался на улице около машины.

Но улица вдруг вымерла. Не появлялся больше ни один прохожий. Даже в отдаленных стихли шаги и смолкли голоса. На площадке возле ручья играли дети; устрашенные наступившей тишиной, они разбежались по домам.

Из дому солдат вынес на голове одну из химер с собора святой Жюстины. Он прошел к борту грузовика и наклонил набок голову, чтоб сбросить статую в кузов. Но солдат был так низкоросл, что химера оказалась ниже борта и зацепилась за край. Солдат занес свою коротенькую ногу на колесо, не достал.

сорвался и чуть не упал. Он выругался и, обозлившись, подбросил химеру вверх со всего размаха; она со звоном шлепнулась о дно кузова. Альберт, обеспокоенный, рванулся к машине. Но охранявший его солдат схватил его, потащил назад и поставил на прежнее место, ударив его по ноге прикладом. Альберт вскрикнул от боли. Фельдфебель Магуна усмеялся:

— Имел право и застрелить.

В это время другой солдат, румяный, пухлый, но флегматичный, с ленивыми и неловкими движениями, вынес из дому копию одной из картин ван-Эйка младшего в золоченой раме.

— Хороша рама, Бернгард, — сказал он коротконогому солдату, ухмыльнувшись, — для круглой нашей печки ведро угля заменить может. И гореть хорошо будет, — сухая, проскипидаренная.

— Давай ее ко мне сюда, Филипп, — попросил коротконогий.

Приняв картину от румяного, коротконогий также с размаху, как и химеру, бросил картину на дно кузова.

— Лети и ты пухом в ту же сволочную кучу.

Румяный посмотрел в кузов.

— Эх ты! Сразу двум бабам на картине морду пропорол!

— Все равно, холст пригодится.

Солдаты добродушно засмеялись.

— Смеются свиньи, а? — обратился Магуна к Альберту. И сам засмеялся. Солдаты подобострастно захохотали. Фельдфебель их остановил:

— Чего ржете? А вы, господин бельгиец, не огорчайтесь. Они народ добрый, мои ребята, если что и попортят, так это нечаянно. Они специалисты больше по живым бабам, а не по рисованным.

У Альберта горло сжалось в давящей спазме. Он боялся, что закричит. Он остановил свой взгляд на

верхушке каштанового дерева у тротуара; сломанная ветка раскачивалась под ветром и не падала. Альберт распустил мускулы пальцев, сжавшихся было в кулаки. Фельдфебель Магуна злобно посмотрел на Альберта и сказал солдату:

— Убить мало таких подлецов. С ним ласково, а он молчит, как змея.

Коротконогий солдат снова появился из дому, нагруженный реликвиями. Подмышкой он держал древко знамени каменщиков, полотнище же, развернувшись, волочилось по земле. Альберт против воли вскрикнул:

— По земле ведь волочится! Что вы делаете! Это — знамя.

— Знамя? Где знамя? Какое знамя? — коротконогий, паясничая, завертелся, оглядываясь кругом, и наступил на шитые золотом буквы: «Лета от рождества Христова 1302-е». Всей силой воли Альберт сдержал себя.

В эту минуту кто-то вскрикнул. Откуда донесся этот крик, — внезапный и печальный, как стон, — понять было трудно, потому что налетел ветер и ударил по стенам крупными каплями дождя.

Альберту показалось, что это голос Луизы. Может быть, она и Марикье откуда-то наблюдали, что происходило у подъезда.

И вдруг засеял плотной сеткой холодный дождь, гонимый северным морским ветром наподобие перувлажненного тумана.

— К дьяволу, — проворчал Магуна, — не хочу я мокнуть из-за этой дряни. Бросай. Кончим после дождя.

Фельдфебель напомнил приказ, запрещающий Альберту отлучаться из дому, и полез в кабину к водителю. Коротконогий и румяный прыгнули в кузов.

Дождь пошел крупней и обильней.

— Трогай, — сказал Магуна.

Тогда Альберт подбежал к машине и попросил у

Магуны разрешения прикрыть реликвии брезентом. Магуна, подумав, согласился:

— Принесите и покажите брезент.

Альберт принес. Брезент понравился Магуне. И он взял его к себе в кабиню.

— Я организую брезент. Это — хороший товар. А ваша рухлядь может немножко и помокнуть. Все равно в печке у нас высохнет. Идите спокойно к себе в дом. Проститесь с вашим имуществом перед разлукой. После дождя мы приедем и заберем оставшиеся картинки и прочие штучки.

Машина тронулась. Альберт вошел в дом.

В передней у порога валялась оброненная связка архивных бумаг из музея. Альберт поднял связку, осмотрел. То была история «пламенеющей девушки».

Альберту вспомнилось, как он собирал и хранил реликвии своего города; вспомнились вечера, когда он разбирал бумаги и читал о благородных делах своих сограждан, вспомнились тихие гордые думы о славном прошлом бельгийского народа, о величии трудолюбивой маленькой Бельгии; и ему захотелось прижать к груди этот сверток пожелтевших бумаг, спрятать, сохранить их.

Альберт заставил себя успокоиться. Он решил все хладнокровно взвесить и обдумать: идти ли на немедленное столкновение с немцами или выжидать и маневрировать сообразно тому, как пойдут дела у немцев на фронтах?

Альберт подумал о битве, которая в это время идет под Москвою. И снова ему показалось странным, что личная судьба его, Альберта ван-Экена, гражданина Бельгии, никогда не выезжавшего за пределы своей страны, потомка цеховых мастеров средневековья, может быть, никогда не слылавших ничего о Московии, теперь попала в какую-то зависимость от событий, совершающихся в этой далекой стране.

Он помнил из своих детских лет, что до войны четырнадцатого года в его родном городе не было почти ни одной семьи, которая не была бы как-нибудь связана с Россией: одним случалось самим работать на южных русских заводах, в шахтах Донецкого бассейна, на Урале, в трамвайных и электрических компаниях русских городов; у других в России служили близкие или дальние родственники; третьи держали свои сбережения в процентных бумагах бельгийских акционерных обществ, действовавших в России. По внутренним банковским, маклерским конторам ему, как и всем в городе, были хорошо знакомы разные русские географические названия, вроде Старая Константиновка, Кривой Рог, Екатеринбург, печатавшиеся крупным шрифтом в объявлениях о продаже и покупке акций и облигаций. Все, что он после того, уже взрослым, узнавал о России, было всегда противоречиво и спорно. Может быть, он мог бы теперь построить на этом какие-то надежды. Но делать практические расчеты на то, что произойдет там, под Москвой, он решил, что не может по здравому смыслу.

Альберт подошел к столу, взял бумагу и написал записку майору. Он просил майора дать ему еще хотя бы самое короткое время на размышление, пока же приостановить вывоз вещей из его собрания городских реликвий.

Написав, Альберт испугался того, что он сделал: не будет ли это непоправимым шагом, после которого все пойдет независимо от его воли и желания?

Чтобы успокоить себя, он достал из ящичка валопскую миниатюру, которую утром он рассматривал, когда вошла к нему Луиза. Альберт взял в руки луну. Руки его дрожали. Он отложил миниатюру. Сомнение, предчувствие, недовольство собой его одолевали. Силы его гасли. Альберт почувствовал,



как бесконечно он несчастен. Он забылся, погрузившись в темное отчаяние.

Все замерло в нем и остановилось. Альберт заснул. Но и во сне он помнил, что он непоправимо несчастен.

Проснулся Альберт от крика и возбужденных голосов в передней. Он быстро вскочил на ноги. И еще раньше, чем успел осознать, что он проснулся, он подбежал к столу. Повинуясь какому-то инстинкту, который все время оставался в нем бодрствующим и ни на миг, даже во сне, не давал ему забыть о том, что он решился на постыдный шаг, он схватил написанную им записку к майору, разорвал ее и бросил в корзинку. Затем ему показалось, что куски, на которые он разорвал записку, слишком велики и по ним можно прочесть, что было написано. Тогда он опустился на корточки, достал из корзины разорванные куски и начал их разрывать один за другим на более мелкие. Не успокоившись на том, он собрал все куски в ладонь и бросил их в камин.

И вдруг его объял ужас: неужели совесть его так нечиста? Но ведь он еще ничего не совершил, значит, даже только намерение его было постыдным.

Крик в передней повторился. Это кричала Марике. Альберт бросился к ней.

Но что же это такое? Что он видит? Возможно ли? Неужели есть еще радость на свете и счастье? Это — Матье. Очевидно, он вошел через подземелье.

Вот он стоит высокий, костлявый, худой. Его огромные глаза сияют улыбкой, а могучие длинные руки подняли на воздух Марике. Луиза стоит рядом, хмурится и вытирает слезы. И Альберту кажется, что его несчастье было только сон.

Нет, ему кажется так всего только один миг. Вот Матье обнимает его и целует. И Альберт чувствует, что никакая сила на свете не избавит его от необходимости сделать выбор и принять решение

в ту или другую сторону. И даже если теперь в дом пришла неожиданная радость, то рядом с нею его несчастье станет еще тяжелей, а выбор дороги еще более неизбежным и обязательным.

★ ★ ★

Запершись на все двери, братья, Марике и Луиза сели за стол.

— Недостает только, чтоб Луиза подала гёз-ламбик<sup>1</sup>, — сказал Матье. Он сидел рядом с Марике и держал ее руку в своей руке. Он был нежен с нею и ласков, с братом и с Луизой мягок и внимателен.

— Да это совсем не Матье, — пошутила Луиза. — бывало Матье все больше молчал, насупившись, или говорил только обидное и насмешливое. Но все-таки ты, гляжу я, племянник, и не больно весел. Какая-то горечь у тебя на душе. И гордости прежней нет. Все гнешься к земле, будто мешок тяжелый на плечи вскинул. И глаза твои не нравятся мне: печаль в них.

Альберт засмеялся на слова Луизы.

— Нет, тетя, теперь-то он и есть настоящий наш Матье, каким был в детстве, — мягкий и ласковый. А когда вырос, ты, Матье, — без обиды, — сделался жестким и немного черствым. Теперь же у тебя глаза в такой же тихой доброй грусти, как были у нашей матери. И улыбка у тебя стала добрее. Только, мне кажется, прежде чем улыбнуться, ты что-то должен вначале преодолеть в себе и смотришь на все как будто не открытыми глазами, а через какой-то кристалл, который невидимо стоит перед тобою. Ты, видно, устал, мой брат, и тебе тяжело.

Марике была светла, но полна испуга и как будто ждала, что вот-вот кто-то войдет и сообщит о

---

<sup>1</sup> Национальное бельгийское пиво.

несчастья. Ее радовало, что одно из ее ожиданий сбылось: Матье пришел. Но не пришел Ренэ. «Где он, где Ренэ?» — это были ее первые вопросы к мужу.

— Не удалось ему уехать в Англию? Ты не скрывай.

— Не скрываю, Марике, не удалось.

— Значит, он в Бельгии?

— В Бельгии, Марике.

— Ты его видел?

— Его видели мои друзья, Марике.

— А почему же ты не видел?

— Когда я прибыл, его уже не было.

— Где не было?

— Там, куда я прибыл.

— Ты не говоришь всего. Приедет ли он ко мне?

— Поедем мы к нему, Марике, а не он к нам.

Альберт просил Матье рассказать о своих скитаниях, о делах.

Но Матье во всех случаях предпочитал говорить не первым. Он был всегда настороже и всегда, прежде чем сказать о себе, выпытывал вначале своих собеседников, даже если это были близкие ему люди.

Однако и Альберт, обычно более открытый, на этот раз уклонялся от прямых ответов. По вопросам Матье Альберт видел, что брат знает до мелочей все случившееся в городе и знает, очевидно, про посещение немцами дома ван-Экенов и, может быть, знает о цели их визита и даже о чем они беседовали с Альбертом, — Матье всегда умел знать то, чего другие не подозревали.

Каждому из братьев жаль было, чтоб вначале раскрыл себя другой. Они шли разными путями и слишком по-разному жили в эти месяцы. Каждый из них опасался, не слишком ли далеко окажутся они теперь друг от друга.

Но для Альберта мнение Матье было всегда почти

законом, а теперь могло стать и той поддержкой, которой так искал Альберт в своих мучительных колебаниях. Для Матве же Альберт был, — это чувствовалось, — нужен в каком-то предстоящем ему деле. Поэтому им хотелось скорее остаться наедине.

Матве сказал, что опасается, не прослежен ли он немцами, а потому ему нельзя долго оставаться в доме; он уйдет, как и пришел, через подземный ход.

— Ты возьмешь меня с собою. Я теперь здесь не останусь, — объявила Марике, — я боюсь, Матве.

Альберт поддержал просьбу Марике. Лунзу пугал больше всего уход из дому. Она в страхе и в нерешимости ждала, как распорядятся ее судьбой.

Матве задумался.

— Я оставалась здесь, Матве, только потому, что ждала Ренэ или тебя. Мне грозит здесь опасность. Ты слышишь? О чем ты думаешь, Матве?

Матве смотрел неподвижным взглядом, весь погруженный в свои размышления.

— Матве, что с тобой?

— Нет, Марике, я не могу тебя взять с собою сейчас же. За тобою я пришел, я возьму тебя, но ты должна пока остаться в доме. Твое исчезновение из дому сегодня может помешать делу, ради которого я приехал в город.

Лунзе показалось, что она нашла разгадку отказу Матве взять с собою Марике немедленно.

— Оставайся, Марике. Неужели же ты до сих пор не научилась понимать Матве? Он никогда ничего не скажет прямо. Да ведь ясно же: Ренэ придет! Придет и придет к тебе. Матве готовит тебе приятную неожиданность.

— Это так, Матве?

— Нет, Марике, Лунза ошибается. Ренэ не придет.

— Тебе говорит твоя старая тетка, что Ренэ придет. Ренэ! Да он так любит мать. Да такого

сына свет еще не знал. Да разве он усидит на месте, когда отец поехал сюда? Никогда! Он на крыльях прилетит, хоть на минуту. О, милый наш Ренэ, какой это юноша, видела ли еще земля такого? Как он ласков, как он нежен, какая чистая душа, какой он всегда прямой, открытый, честный, какой чистый он был всегда и во всем, и никогда, бывало, он не скажет ни словечка неправды. И разве Ренэ не придет? Придет.

Матье охватил свойственный ему с детских лет приступ ярости. Он закричал:

— Молчите, Луиза! Не смейте говорить так. За-  
молчите сейчас же.

Луиза замолчала, побледнев. Марике затревожилась.

Но Матье быстро пришел в себя и успокоил ее:  
— Хорошо, Марике, я, может быть, возьму тебя с собою сейчас же. Иди к себе, готовься. А мне надо поговорить с Альбертом о важном деле.

Братья вошли в музей вдвоем. Альберт начал было рассказывать, как, когда и какие реликвии ему удалось спасти. Но Матье резко оборвал:

— Здесь побудем молча.

Матье остановился посредине комнаты в торжественной сосредоточенности. Голова его склонилась вниз, и вся фигура выражала печаль. Так он постоял несколько мгновений, молчаливый и угрюмый.

Альберт подошел к брату, тронутый и вместе встревоженный.

— Скажи, мой друг, мой милый брат, чем ты так опечален, какая тяжесть у тебя на сердце? Не случилось ли что с нашим Ренэ?

Матье опустил на сосновый обрубок и закрыл лицо руками. Но через мгновение встал.

— Ты меня, Альберт, не сбивай с того, что должен я с тобой решить и сделать.

Матье поднял голову и взмахнул перед собой ру-

ками, как будто отгонял от себя что-то. Он горько улыбнулся, поймав себя на этом жесте.

— Мне один бывалый человек сказал, что самые длинные руки и ноги, какие он видел в Европе, это у голландского социалиста Трульстра и у меня. Вон они какие у меня, — он вытянул руку в сторону окна и погрозил улице, — мои руки достанут проклятых бошей, куда бы они ни укрылись. Скажи мне, брат, ты в подземелье бываешь? Все там в сохранности? Я, проходя, не осмотрел, спешил повидать вас скорее.

— Все сохраняется, как ты приготовил перед своим уходом. А почему спрашиваешь? Неужели это, по-твоему, когда-нибудь понадобится?..

— На всякий случай спрашиваю. Взрывчатые вещества всегда пригодятся. Любой ценой спаси Марике, если что произойдет неожиданное.

— Матье, говори прямо!

— В городе, Альберт, могут разыграться серьезные события.

— Брось загадки. Расскажи, что тебе известно. Ты говоришь с братом.

Как много мог бы рассказать Матье своему младшему брату! Он приехал в родной город по поручению друзей из Брюсселя. Там получены сведения, что из прибрежных северных департаментов Франции и из городов западной Фландрии снимаются части немецких гарнизонов для отправки на Восточный фронт. Удалось узнать также, что сборным пунктом для формирования эшелонов назначен железнодорожный узел в родном городе Матье и Альберта. На Матье возложено помешать всеми средствами отправке этих эшелонов или же, по крайней мере, задержать отправку сколько будет возможно.

Матье мог бы рассказать Альберту, что он уже обошел тех, на кого рассчитывал в этом деле, и от многих получил уклончивые ответы. Он мог бы рас-

сказать, как его спрашивали: не пострадают ли, в случае выступления против немцев, святыни старины и памятники национальной славы, которые с такой настойчивостью и с таким терпением собрал и с таким мужеством сохранял его младший брат, Альберт ван-Экен.

За несколько часов пребывания в городе Матье успел убедиться, что Альберт для многих горожан служит примером. Многие по поведению Альберта определяют, приходится ли уже покориться завоевателям или же можно еще рассчитывать на успех в борьбе с ними. Некоторые из почтенных людей прямо заявили Матье: поступим, как поступит младший ван-Экен; мы не хотим подвергать риску то, что ему удалось спасти своей разумной выдержкой.

Матье понял, что он скорее сплотит нужных людей, если Альберт будет с ним заодно. Он мог бы пренебречь доверием людей к Альберту, если бы военное счастье на фронте резко повернулось против завоевателей. Но может ли он выждать, или же дело, для которого он приехал, потребует самых быстрых действий?

Матье не мог сразу решиться, как поступить с братом: открыться ли ему прямо, или нет? Он задал было Альберту вопросы: ты, надеюсь, порицаешь капитуляцию? Ты, верю, не принимаешь сотрудничества с немцами? Но Альберт, обиженный, что брат не хочет ему довериться, отказался отвечать, пока тот не скажет, чего от него хочет.

Тогда Матье отбросил колебания: недаром ведь Альберт, как и он, Матье, — из рода ван-Экенов; ван-Экены никогда не взвешивали на весах сомненья свою верность отчизне; и если в дни неудач Альберта могла покинуть твердость, то доверие, которое Матье окажет теперь брату, снова придаст тому силы; честное, прямое сердце отзывается на оказанное доверие удвоенной преданностью.

Матье рассказал брату все. Не открыл только лишь место, где в эту почку должны собраться приглашенные им верные люди, чтобы начать действовать.

— Настала минута, Альберт, когда ты одним твоим словом можешь совершить большое дело. Всю жизнь ты прожил безупречно. Ты заслужил от твоих сограждан такое доверие, когда твое слово может перетянуть весы на ту или другую сторону. Может быть, ты и жил всю жизнь в честном мужественном труде только ради этой решающей минуты.

— Чего ты ждешь от меня, Матье? — спросил Альберт.

— Я жду, что ты со мною вместе пойдешь к нашим людям и скажешь, что ты призываешь их вместе со мною к решительному выступлению, какая бы потом месть вандалов ни грозила нам, нашим близким и святыням нашей старинной отечественной славы. Вот чего я жду от тебя. Дай мне ответ, Альберт.



В размеренной и однообразной жизни маленького тихого фламандского городка, где всем обиходом правил вековой обычай, Матье принадлежал к неспокойным и непокорным элементам. Его живая и горячая энергия всегда бодрствовала, всегда искрилась, как раскаленные куски каменного угля в камине, не допускающие на свою поверхность ни пятнышка дремлющего пепла до тех пор, пока их сердцевина еще пламенеет.

Братья оба, и Матье и Альберт, сходились в не любви к заведенному укладу жизни городского буржуа и рантье. Но Альберт преодолел принятый обычай только умозрительно и философски. В думах своих он поставил себя выше господствовавших предрассудков и внутренне чувствовал себя незави-



спрым от них. Но во всем своем повседневном обиходе он жил такой же тихой и размеренной жизнью, как жили другие обыватели, — может быть, даже считая, что всякое внешнее противопоставление своего поведения принятому обычаю было бы тоже своего рода мелкой бытовой суетой.

Альберт любил философию Метерлинка. Он ездил однажды в Гент, чтоб познакомиться со своим знаменитым соотечественником, и провел целый день в прекрасном имении поэта, философа и садовода, отгороженном от вульгарного мира высокими стенами, покрытыми красной черепицей и посыпанными битым стеклом. Альберт, в полном согласии с учением Метерлинка, считал, что внешнее всегда подчиняется внутреннему. Он часто повторял: «Взойдите на вершины гор или спуститесь в низины доли, отправьтесь на край света или оставайтесь в стенах своего дома, все равно повсюду вы встретите только самого себя. Вы сами являетесь мерой того, что случается с вами... Ничтожные и пустые события мудрому станут предлогом для величайших размышлений и глубочайших чувств. А для вульгарного и великие внешние совершенья промелькнут как пустые случаи. Все в вас. Если вы любите, все кругом вас будет полно любви. Ненавидите, — и мир вокруг вас содрогнется от ненависти. Предатель найдет случай предать. Герой найдет случай совершить подвиг. И даже сама смерть, входя в дом к мудрому, наклоняет голову из почтения к его мудрости».

Матье же во всем внешнем любил противопоставить себя порядку, одобренному обычаем. Он носил не котелок, а мягкую шляпу, как носят студенты и художники. Одевался он в охотничью куртку и короткие штаны с чулками. Он отпустил бороду. Он никогда не ходил с дождевым зонтом, хотя в этой местности было в году двести дождливых дней.

Матье любил опровергать авторитеты. Однажды на школьном спортивном празднике он бросил вызов приезжему сильнейшему боксеру потому лишь, что кто-то в его присутствии сказал про приезжего, что тому нет равных «не только в нашем городе, но, пожалуй, и во всей Бельгии».

Когда Матье вышел на ринг, то приезжий гость, взглянув на его неуклюжий тощий стан, на его худые руки, мотавшися, как плети, рассмеялся и сказал: «Мой дорогой, мне жалко вас, и я не буду с вами драться». Матье яростно, бросился на гостя, оскорбленный.

В бою у Матье была перебита переносица с первых же ударов. Нос его так и остался на всю жизнь несколько свороченным на сторону. Матье был нокаутирован. Но и приезжий потерял немалый урон. Когда школьные власти возбудили против приезжего боксера обвинение в злоупотреблении силой против малолетнего противника, Матье принял всю вину на себя. На вопрос, что его побудило вызвать профессионального и известного спортсмена, он молча положил перед своим отцом книжку де Костера «Могила борцов». Отец спросил: «В чем дело?» Матье раскрыл книжку, отыскал нужную страницу и молча показал отцу. Отец прочел, — это было место, где рассказывалось, что борец Фландрии лишь в одном случае может уклониться от боя, — когда он мертв. Отец ничего не ответил сыну. Но вскоре взял его с собой в поездку в Брюссель. Там он привел Матье к скверу в середине авеню Луиз и показал ему памятник де Костеру, изображавший момент, когда на вызов и насмешки наглого чужеземца юноша показывает народу умершего борца-героя.

Матье долго стоял перед памятником, возвышавшимся над крышами домов в низине вокруг Иксельских прудов. Когда отец и сын уходили, мальчик, оставив отца, вернулся, подбежал к памятнику и

поцеловал свисавшую бронзовую руку легендарного героя. Кругом дети и взрослые засмеялись. Матье наперекор им еще раз вернулся, опустился на колени и еще раз приложился к бронзовой руке борца.

По принятому в роду ван-Экенов завету Матье и Альберт были антиклерикалами — противниками церкви и религии, — и с отроческих лет, — тоже по заведенному семейному обычаю, — принимали участие в шествиях, собраниях против католиков, играли в антиклерикальном оркестре, пели в антиклерикальном хору и оказывали различные мелкие услуги местной организации либералов, в которой старшие мужчины семьи, отец и дядя, играли не последнюю роль. Соглашения либералов и социалистов против католиков на выборах дали случай Матье и Альберту познакомиться с местными городскими вожаками рабочей партии. Обоим юношам были по душе простые нравы этих людей, их знание народных обычаев, народного местного говора.

Матье назло местным либеральным вожакам и в поисках знакомств с людьми смелыми и решительными стал искать сближения с кругами рабочей партии. Но его скоро оттолкнула от этих людей та же убогая суетность их быта, которую он наблюдал повсюду вокруг. Юноша Матье публично обозвал лицемером старого вожака местного рабочего кооператива за то, что тот, будучи ярым безбожником и антиклерикалом, посылал жену и дочь по воскресеньям в церковь затем, чтоб расположить заказчиков-католиков к своей столярной мастерской.

Впрочем, Матье относился насмешливо и к тем антиклерикальным семьям, которые по заведенному обычаю имели дело только с поставщиками-антиклерикалами и потому не покупали молока у молочниц-католичек, не отдавали стирать прачкам, ходившим к исповеди, не заказывали ботинок католику-сапожнику, не брились у католика-парикмахера

и не заходили в кафе к трактирщику-католику, но в свои мастерские и фабрички брали предпочтительней рабочих и работниц католического вероисповедания как людей более покорных и тихих.

В 1913 году, когда рабочая партия Бельгии объявила всеобщую стачку, Матье уже служил на ружейном заводе, где работал когда-то его отец. Матье всей душой поддержал стачку. Но после того как победоносное ее течение было остановлено и прекращено из-за слабости и нерешительности вожаков, Матье порвал с социалистами. Ему ненавистна стала в них приверженность ставить местные интересы выше интересов всей страны. Не найдя себе в тогдашнее время партии по душе, Матье весь ушел в интересы своего оружейного мастерства.

Матье было около двадцати одного года, когда началась европейская война. Он не был взят в армию из-за плоской ступни. Нашествие немцев застало его в родном городе мастером на ружейном заводе.

К тому времени Матье уже слыл виртуозом в своем производстве, но он сделался виртуозным его разрушителем, занявшись саботажем, как только немцы попробовали заставить завод работать для их нужд. Матье был прослежен немцами, бежал и вскоре стал одним из самых энергичных деятелей крупнейшего тайного общества по вербовке в оккупированной Бельгии молодых людей в бельгийскую армию и по нелегальной отправке их через голландскую границу в порты, а оттуда в Англию.

Матье был неутомим. Казалось, все силы его развернулись в полном блеске. Прежде он был хилым и слабым, теперь он окреп, стал гибким и сильным. Его смех сделался серебристым, звонким. Однажды, при переправе через границу на обратном пути из Голландии он чуть не попал в руки немцев. Пожилая, многодетная фламандская крестьянка спрятала его у себя в мансарде, рискуя собственной головой

и головой своих детей. Провожая его на заре, она сказала: «Не благодарите. В такой беде мы должны быть все братья и сестры друг другу». И это стало любимой поговоркой Матье: «Когда отечество в беде, мы все теперь друг другу братья и сестры». Но очень скоро его постигли разочарования. Его потрясло и оскорбляло своекорыстие богатых соотечественников, их равнодушие к судьбам родины. Он не раз испытал, как трудно сплотить на общее дело людей состоятельных и людей немущих. Он убедился, что чем обеспеченней человек, тем трудней ему решиться на бескорыстный подвиг во имя отечества. Матье сделался недоверчивей. Его смех стал тускнеть, да и смеяться Матье стал реже. Иногда даже ему в голову приходили святотатственные мысли: может быть, его родина, расщепленная внутри на два стана, — алчных себялюбцев и обездоленных бескорыстных героев, — и не заслужила победы, которую он всечасно призывал всем сердцем.

После освобождения Бельгии от немецкого нашествия Матье вернулся в родной город как почитаемый патриот и герой; но скоро был развенчан общественным мнением noctенных горожан. После четырех лет лишений, опасностей и тяжелых разочарований Матье с бурной страстью предался развлечениям. Его кутежи всегда переходили в драки. Напившись, Матье задирал самых известных обывателей.

Однажды, в большой церковный праздник, в городе происходило по средневековому обычаю состязание в еде на звание первого едунa округа. К состязаниям допущены были только ранее отличившиеся и рекомендованные общественными клубами и кружками выдающиеся поглотители пищи. На площадях собрались тысячи зрителей. Истребление съестного происходило на высоком помосте.

Матье остался победителем. Легенда утверждает,

что он съел целиком двух больших гусей с потрохами. Его поздравлял председатель жюри, уважаемый всеми торговец фуражом, господин Слякмёльдер ван-Сток Стратен, произнесший речь в высоком стиле. Вместо ответа на хвалу, Матье, порядочно во время состязания подвыпивший, схватил господина Слякмёльдера ван-Сток Стратена за бороду и спросил:

— Скажите, зачем теперь вы хвалитесь любовью к родине, а во время оккупации поставляли овес немцам и набивали свои сундуки немецкими марками?

Матье стал первым коноводом на всех народных гуляньях. Он до самозабвения вертелся на ярмарочной карусели, без шляпы, с развевающимися волосами и с плащом, плещущим по ветру, сидя на деревянном коне. Казалось, он воображает себя скачущим через бездны. Он был первым в тире. Он сильнее всех наносил удары кулаком ярмарочному резиновому «мавру» и так глубоко ударом вдавливал ему нос внутрь, что доставал до пружинки, приводящей в движение пистолет, укрепленный над головой «мавра»; раздавался выстрел, и толпа рукоплескала.

Зимой наступил неожиданный конец буйствам Матье. В первый понедельник января, называющийся «потерянным понедельником», полагалось, по обычаю средневековой цеховой мастеровщины, устраивать пьянство и драки. В эту ночь Матье разгромил кабак в предместьи за ручьем и был принесен домой с проломленным черепом.

Матье пролежал больной около месяца. Выздоровев, он совершенно переменялся; бросил кутежи, стал задумчив, молчалив и невесел.

По совету врача, отец Матье решил женить сына. Но на ком? Оказалось, что у Матье не было ни одной любви, ни одного увлечения. Он был равнодушен к девушкам и чист, как отрок.

Когда пришла весна, отец уговорил Матье по-

ехать в Бэнш поискать себе невесту. Матье готов был отказаться в первую минуту. Но отчего бы не встряхнуться и не поехать?

По средневековому обычаю, маленький валонский городок Бэнш в праздник «духова дня» встречал приезжих женихов, с почетом и радушьем. На вокзал к приходу утренних поездов высылался оркестр; мэр держал приветственную речь; на площади расставлялись столы с угощениями; к вечеру зажигали иллюминацию и начинались танцы и игры.

Матье поехал, но по своей всегдашней строптивости он решил все-таки показать, как он насмешливо относится к средневековому пережитку: с собой он пригласил женатого приятеля: «Никто же там не спрашивает, женат ли ты; а отчего бы тебе не выпить и не закусить за счет богоспаемого города Бэнш и не потанцевать с хорошенькой валонкой?»

Там, в Бэнше, в этот вечер Матье встретил круглую сироту, Марию. Встретил и полюбил. Полюбил так сильно и так безраздельно, как может любить в нетронутой сердечной чистоте однолюб, еще никогда никому не даривший своей любви. И Мария полюбила Матье. «Ты тоже у меня моя первая любовь», — часто повторяла она ему.

Быстро состоялась помолвка. Матье был счастлив. Через каждые три дня он ездил в Бэнш навещать невесту. Матье снова сделался замкнутым, очевидно, от избытка глубоких ощущений.

В сентябре была назначена свадьба. Ее справляли в родном городе Матье. Замечено было на лице невесты облачко тревоги и печали.

В брачную ночь Матье бежал от своей жены и, ни с кем не простившись, уехал из города один.

На вокзале он просил сторожа передать отцу записку. В записке Матье писал: «Я не знаю, куда я еду, и не знаю, когда вернусь. Но если б

даже я никогда и не вернулся, заботьтесь всегда о Марике, как о родной дочери, и жалейте ее. Она очень несчастна. И всегда помните, как она мне дорога и кто она мне». Затем была приписка, — Матье просил отца отдать сторожу два франка, которые Матье у него занял, чтоб купить билет до Гента.

Сторож рассказал, что Матье был в свадебном фраке, без шляпы, правая нога была обута в левый ботинок, а на левую надет был правый.

В Генте сказали отцу, что Матье видели уже в матросской одежде и что он отплыл на барже по каналу к морю. Ни в Брюгге, ни в Антверпене не нашлось следов Матье.

Решено было в семье, что Матье погрузился на корабль и бежал в бельгийское Конго. Но почему бежал? Этого никто не знал. А Марике на вопросы отвечала только слезами.

Люди стали обвинять в исчезновении Матье, конечно, Марике. Уверяли, будто в брачную ночь Матье узнал, что сберег свою юношескую чистоту для девушки, которая до брака познала мужчину. Кто мог это доказать?

Отец Матье не верил сплетням. Но Марике чувствовала, как тяжело свекру и какие сомнения его мучают. Она хотела уйти из дома ван-Экенов. Свекор не отпустил ее, уважая последний наказ своего сына.

Время шло; от Матье не было известий.

Город долгое время преследовал Марике насмешками и презрением. Тем больше она ценила благородное доверие к ней свекра, почтительное уважение деверя Альберта и дружбу тетки Луизы.

Однажды Марике призналась Луизе, что в прошлую войну, в семнадцатом году, когда ей только что исполнилось четырнадцать лет, она была изнасилована немецким офицером, убившим при допросе в комендатуре ее мать и отца. Она рассказала, что в брач-



ную ночь она просила Матье застрелить ее и что Матье рыдал, а затем, не сказавши ничего, бежал.

— За что же ты, безвинная, должна нести всю жизнь этот крест и страдать, и стыдиться... и бояться людей... Да и он, твой Матье... он никогда этого не забудет... так и останется на всю жизнь неутешный... ван-Экены... это — такие души... в них всякий след навеки... и память у них долгая на все... такой они народ... бельгийцы... — сказала тетка Луиза.

Марике все больше ожесточалась против своего горького одинокого настоящего и становилась все больше равнодушной к своему будущему, которое ей представлялось темным и безрадостным. Ей отрадно было только то далекое ее прошлое, когда она не знала опозорившего ее несчастья. Как короткое мгновенье, вспоминалось ей счастье первых дней ее любви к Матье. Но рядом с этим счастьем стояла черная ужасная тень. Она постоянно ощущала на себе оскорбительное для всего ее существа несмываемое пятно. И она все ждала, что все увидят это пятно и узнают о нем.

Спустя девять месяцев после бегства Матье, Марике родила сына, «светлоокого херувима», унаследовавшего от отца и матери все лучшее, чем их одарила природа. От отца ребенок взял умные, бездонные и ласковые глаза, от матери — печальную улыбку, светлый лоб и нежный овал лица.

Мальчика называли по деду — Ренэ. При рождении внука дед был потрясен одновременно и счастьем, и тем, что сына нет при таком событии. Он хотел дать знать Матье, но никто не мог указать, где Матье. Годы шли; старик грустил. Он умер внезапно, от паралича сердца, сидя перед кроваткой внука и любясь им.

Марике полюбила своего ребенка всепоглощающей любовью. Казалось, к пей с сыном вернулась жизнь.

Но ее пугало будущее; она боялась и ждала, что судьба не пощадит сына, как не пощадил ее самое. Любовь к ребенку не приблизила ее к жизни, а отдалила. Но она ощущала, что в глубине ее существа есть скрытый источник сил и этот источник когда-нибудь пробьется наружу. Ненависть против зла в ней была так сильна, что заставляла ее бледнеть и дрожать, когда она видела, как обижают тех, кто не может защитить себя. Но эта ненависть была в ней беспредметной.

Местная газетка, в которой было напечатано извещение о смерти старика ван-Экепа, дошла до Матье в далекие края, где он скитался.

Вскоре на имя Альберта было получено письмо от Матье из Калифорнии. Матье просил сообщить подробности о кончине отца и сказать, жива ли Марике.

Ответ Альберта застал Матье в тот момент, когда он собирался уезжать из Калифорнии; но не на родину, — его потянуло странствовать по свету.

Три года Матье проработал в шахтах забойщиком. Он много перенес, много видел лишений, много узнал, много повидал разных людей со всех концов земного шара. После работы он избегал оставаться один; вечерами он просиживал в «солуне» за стаканом грога или коктейля, никогда никому ничего не рассказывая о себе, но всегда жадно выпытывая собеседников о жизни в их странах. Он подружился с русским, бежавшим из России перед войной четырнадцатого года. Русский привлек его внимание к сообщениям газет о коренной перестройке, какая производилась в России во всех областях жизни.

Матье заинтересовало не только настоящее этой страны, но и ее прошлое. Его русский приятель переводил ему из книг по истории России. Матье был особенно поражен тем, что, во время расцвета городских вольностей и богатств в его родной Фланд-

рин, далекое русское племя вело непрерывные войны с азиатскими кочевниками, как часовой охраняя и сторожа покой и труд Западной Европы.

Матье был увлечен рассказами своего нового приятеля об этой загадочной стране. И однажды они оба решили отправиться туда и посмотреть на все необычайное собственными глазами.

Но, узнав о том, что у него на родине растет сын. Матье расстался со своим русским другом и в тот же день, как получил письмо Альберта, выехал в Бельгию.

Встречу с родиной, с Марики и с сыном Матье ощутил как новое свое рождение. Казалось, все началось для него впервые. Как будто он вышел из могилы в весенний солнечный день и на него повеяло свежестью полей и теплом благоухающих лесов. Пережитое горе истлело в могиле, и теперь его ядовитый прах развеяли благодатные ветры, прилетевшие с чистых горных вершин, сияющих под голубым небом.

Матье вдруг понял, как суетно было его горе и как перед величием простой человеческой любви ничтожны обиды, как не может нанести нам судьба, и как непобедима сила всегда обновляющейся и торжествующей жизни.

Матье готов был все забыть. И забыл. Так велика была в нем сила жизни. Но Марики не забыла ничего. На ее лицо легла тень грусти; в ее взгляде остался навеки иснуг, как будто она ждала каждый миг нового несчастья.

Матье расставался с сыном, только уходя на работу на ружейный завод. Когда Ренэ стал ходить в школу, Матье ездил в Брюссель и получил разрешение от правления акционерного общества на то, чтобы отлучаться с завода два раза в день на полчаса: утром Матье сам отводил Ренэ в школу, после занятий он сам приводил его из школы домой.

Матье, однако, чувствовал себя иностранцем у себя на родине. Он жаловался, что ему представлялось все тесным в густо перенаселенной Бельгии. Ему казалось, что даже его руки слишком длинны для маленькой Фландрии: «Вытяну их на север,—пальцы окажутся в Англии, вытяну на юг — достану Париж, а на восток — смогу рвать тюльпаны в Голландии или звонить на колокольнях в Пруссии».

Он носил по американской привычке просторные пиджаки, каких не носят в Бельгии. Шаг его стал по-американски широк, походка уверенной и размашистой; так в его городке не шагали даже самые обеспеченные рантье и самые гордые богачи. Подавая руку при встрече, он не тянул вашу кисть по-европейски вниз, а раскачивал ее далеко из стороны в сторону, как делают американцы на севере; и не отпускал долго как будто для того, чтоб показать, что ему не надо никуда торопиться.

Между братьями стали нередки ссоры. Альберт подсмеивался над постоянно повторяемыми старшим братом опасениями нового германского нашествия на Бельгию.

— Либо это у тебя, Матье, стало пунктиком помешательства, и я готов тогда это извинить, — на болезнь нельзя сердиться, — либо ты сделался безнадежно старомодным и отсталым. Нельзя же петь все время старые песни. Ты становишься, Матье, смешным ворчуном, отставшим от своей эпохи.

— Дело не в том, Альберт, что я повторяю старые песни, а в том, что ваши песни совсем не новы. Я не политик, правда. Но я тебя спрошу: разве не бывало у нас в старину, во время векового чужеземного владычества над нашими предками, что богатые фламандские патриции из жадности наживы, из-за личной корысти или из узкого местничества ослабляли борьбу наших городских общин за независимость и свободу? Нас, переживших страшное

четырёхлетие немецкого нашествия, надо упрекать не за наши постоянные напоминания о немецких зверствах и завоевательских планах, а, пожалуй, скорее за то, что мы больше указываем на постигший немцев разгром и меньше вспоминаем о неумении союзников во-время объединять свои силы. Все ваши послевоенные деятели увлечены только погоней за личным благополучием. Как вы приготовили народ к испытаниям? Какими идеалами вы увлекли его? Чем подкрепили его вековой патриотизм? Чем вооружили его вековую способность к героическим подвигам? Вот я о чем тебя спрашиваю. И на это я от тебя ответа не слышу. Ты сам стал бесстрастным созерцателем среди твоих цветов и грядок. Ты сам безмятежно живешь в довольстве, без большой мечты. Ты сам стал равнодушным ко всему, что вне пределов твоего тихого, мирного городка, богатого былым искусством и былою боевою славой. У тетки Луизы в комнате я видел школьную «карту, провозглашающую величие маленькой Бельгии». Может быть, нам снять со стенки эту карту?



Протекли года. Война пришла. Ее ничто не отвратило.

И снова теперь братья стояли перед «картой, провозглашающей величие маленькой Бельгии». Матье ждал.

— Дай же мне ответ, Альберт. Поддержишь ты меня или нет? Люди ждут, — пойдем к ним! Скажи им твое мужественное слово.

— Нет, Матье, я не пойду...

Альберт хорошо знал буйный характер своего брата, — предосторожности ради он отступил шага на два от Матье, ожидая резкой вспышки, и встал в позицию, чтоб отразить нападение, если Матье, вспыхнув, ударит его.

Но произошло не то, чего ждал Альберт. Матье поник и сидел молча.

Тогда Альберт понял, какое глубокое горе он причинил брату. Но что он мог сделать иное?

Матье сдержал в себе кипящее волнение и сказал строго, неторопливо, с глубокой тоской:

— Ты ли это, мой брат? Тебя ли я слышу? Пред тобой ли стою?

Матье рассказал брату о том, что он видел в своих рискованных скитаниях по родной стране. Он видел эшелоны товарных вагонов с молодыми женщинами и девушками, малолетками, которых оккупанты принудительно отправляли в публичные дома для немецких офицеров и солдат. Он видел, как угоняли из городов тысячи бельгийских рабочих на невольнические работы в Германии. Он побывал в деревнях, где немцы отобрали последнюю картошку у крестьянина за неточные соблюдения поставок для немецкой армии. Он побывал в семьях тех людей, которых немцы взяли как заложников. Он сам испытал вместе с этими семьями ужас постоянного ожидания смерти несчастных пленников.

Альберт прервал брата:

— А разве мне все это неизвестно? Все знаю. все. И ужасаюсь так же, как и ты. Но не о размерах беды и зла мы с тобою должны говорить, Матье. а как нам это зло смягчить, когда обнаружилось, что совсем устранить его мы не можем.

Матье вдруг поднялся, распрямился во весь рост и вытянул свои длинные руки над головой Альберта. И было похоже, как будто он собирается обрушить на него гневные удары, но Матье заговорил тихо и спокойно:

— Неужели ты не ван-Экен? Альберт! Альберт! Ты заживо умираешь. Ты уже сделал сейчас шаг к предательству. Но я тебя спасу. Ты — мой брат. Я тебя люблю. Я не подчинюсь судьбе. Я не покину

тебя. Я не уйду до тех пор, пока не уговорю тебя.

Тихость Матье и его спокойствие потрясли Альберта. Он почувствовал, как силен и уверен в себе Матье и как он сам, Альберт, взвинчен и бессилен.

Убежденность переполняла сердце Матье. Альберт же искал аргументов.

— Выслушай меня спокойно, Матье. Прежде чем поставить все на карту, я обязан выждать, как сложатся события... Я отвечаю за реликвии города... Я готов подвергнуть их риску... по ради чего? Ради победы, Матье... если в ней будет уверенность... Рисковать же, если мы уже побеждены, я не хочу... И вот я взвешиваю на весах наши шансы на победу...

Спокойствие покинуло Матье. Он вскочил, сжал кулаки, побагровел. Но сдержался и начал говорить почти шепотом, как будто боясь, что его кто-то услышит со стороны:

— Кто же ты такой, что взвешиваешь на весах свою верность стране отцов? Гадают и взвешивают только наемники. А сыновья родины дерутся до последнего дыхания. Они знают, что победа в них самих и зависит от их собственной доблести. Разве любовь к отечеству измеряют его удачами или неудачами в борьбе с врагами? Или, может быть, ты станешь мерить свою преданность родине теми благами, которые она тебе может предоставить? Это был бы подлый торгашеский расчет, а не сыновья любовь к своей матери. Кто усомнился в победе, тот пропал, тому все страшно. А кто верит в победу, тому не страшны никакие испытания. Я жду победы. Я вижу ее, как будто она уже пришла.

— И я хочу победы, Матье. Но если она не придет?... Имею ли я право идти на разрыв и рисковать?..

— Идти на разрыв? А разве ты уже не порвал... с твоими врагами?

— Но, представь, Матье, русские сдадут Москву, — тогда война кончена.

— Москву отстоят! Назови это, как хочешь, — судьбой, закономерностью, справедливостью, но так будет. Русскими движет бессмертная сила веры в свое дело и в свою родину. Они своими телами закрывают отверстия, откуда стреляют вражеские пулеметы; они бросаются под танки, взрывая их: они наводят на себя огонь своих пушек, лишь бы заодно истребить и врагов. Они жгут свои дома, деревни, города, заводы... они взрывают то, что создал их гений и их труд. Они рискуют всем дорогим. Это — душевное величие, Альберт, бессмертное и вечное, — его не сожжет огонь, не пожрет тля... Пять столетий русские не слезали с коней, сторожа Европу от нашествия кочевников... Здесь, на западе, мы строили соборы, ратуши, замки, дворцы, а там, на востоке, русские были нашими неутомимыми, бессонными и бессменными часовыми. Имеем ли мы право забыть хоть на минуту те жертвы, ту кровь, которая льется сейчас там, льется за нас, за нашу Бельгию, Альберт? Я теперь живу под звездой Москвы. Я верю в эту звезду. Я хочу учиться у русских мужеству и любви к отчизне. На их примере я проверяю все свои чувства: свое отношение к нашей стране, к моему городу, к жизни, к смерти, к любви и ненависти, — и к тебе, Альберт, моему брату, и к жене и к сыну. Я приготовил себя ко всем испытаниям и ко всем потрясениям. Без невозвратимых потерь нет истинной жизни.

— А знаешь ли ты, Матье, что такое невозвратимая потеря? Подумай о нашем соборе, о нашей ратуше, о наших картинах... Понимаешь ли ты, что такое утрата, которую не восстановит ни время, ни труд и никакая сила на земле? Можешь ли ты это себе представить? Можешь ли почувствовать это?

Матье хотел ответить, но не ответил, — отвер-



нул, постоял спиной к брату, а затем начал ходить по комнате безмолвно.

Между братьями встала тишина, тяжелая и недвижимая. О чем думал Матье?

Он снова отвернулся к стене. Порылся в карманах и, не глядя на Альберта, протянул ему письмо.

— Прочитай. И молчи. Не говори мне ничего.

Это было письмо от друзей Ренэ, — короткое письмо, всего несколько строк: «Знаем, что это письмо причинит вам горе, что будут слезы. Мы не решались писать. Но надо же. Ваш Ренэ погиб. Он замучен немцами. Он хотел бежать в Англию. На побережье, около Мидлькерке, Ренэ был ранен немецким патрулем и схвачен. Его пытали. Труп бросили в песках, и волны унесли его в море».

Альберт перечитал письмо несколько раз... еще... еще... и еще раз. Ему хотелось кричать.

Долго братья стояли, боясь слов, боясь взглянуть друг на друга. Было очень тихо. Но они не слышали даже тишины.

На улице угасал вечер. И от холма в комнату легла черная тень.

Альберт не решался ни пошевелинуться, ни переступить с ноги на ногу, ни выговорить слово, боясь прекратить длящееся мгновение и оскорбить торжественность молчания. Но вдруг сказал громко:

— Я приду, Матье. Располагай мною.

Матье только кивнул головой в знак того, что слышал. Он подошел к брату, сел рядом, обнял его за плечи и снова погрузился в себя, казалось, забыв об Альберте.

Вошла Марике. За ней Луиза.

— Зачем вы здесь одни так долго, без нас? Мне страшно, — сказала Марике, — почему вы в темноте?.. Матье, случилось что-то? Почему вы сидите, обнявшись? Скорей скажи: какое-нибудь несчастье у нас? Альберт плачет? Почему он плачет?

— Нет, это не слезы. Нет, я не плачу.

— Скажи, Матье, что случилось?

— Ничего, Марике, ничего...

— Я по голосу твоему слышу... Ренэ? Что-нибудь случилось с ним? Жив он? Матье, не скрывай от меня. Мне страшно, Матье.

— Сядь со мною рядом, Марике. И ты, Луиза, садись...

— Говори, говори, Матье, говори скорей...

— Марике, нечего говорить!.. Ты все уже угадала сама...

Марике вскрикнула:

— Его уже нет? Не может быть... Не верю...

— Ренэ убит, Марике...

— Боже, как мне страшно... Помогите нам... сделайте что-нибудь... как мне страшно... Матье, Матье... нет, это еще не так. Откуда ты узнал?

— Вот письмо, Марике.

— Давай его. Зачем же ты его скрывал? Кто имеет право скрывать от меня? Дай письмо. Оно — мое. Это все мое. Какая жестокость скрывать от меня мое самое главное.

Матье подал ей письмо. Марике читала и беззвучно содрогалась от слез.

— А жить надо, Марике... все-таки надо... — сквозь смазку выговорил Матье голосом, хрипящим, чужим, стараясь скрыть свой собственный смертельный ужас. Но слова его прозвучали как рыдание. И он, испугавшись, прервал себя. А Марике, в страхе от его страха, закричала скорбным криком без слов.

Луиза, которая сидела окаменев, вдруг встрепенулась из ледящего ее оцепенения; схватила, притянула Марике к себе и обвила ее руками, вырывая от Матье и как бы защищая ее.

— Не видишь, жестокий ты человек, Матье... Она ведь сейчас умрет... ей-богу, родные мои, она умирает... да что же вы смотрите... негодяи вы такие...

Да ты неправду говоришь, Матье, да сам-то ты знаешь ли хорошо? Не ошибся ли? И кто это тебе сказал?.. Да не может этого быть... да я ведь нянчила Ренэ... да лучше его никого не было на свете...

А в это время с улицы стучали в дверь. Матье и Марике не слышали. Стук гремел все сильнее.

Его услышал первым Альберт. Он вскочил.

— Стучат!

Тогда услышала и Луиза.

— Стучат. Да, стучат.

— Колотят сапогами в дверь! Это — немцы! Опять немцы! — Луиза всплеснула руками, — о мать пречистая, что с нами будет!

— Идите, тетя, откройте. А я спрячу Матье и Марике.

— Я боюсь, Альберт. Я не пойду.

Альберт бросился к Матье.

— Скорее уходи! Немцы! Матье, Марике, придите же в себя. Опомнитесь же! Спасайся, Матье. Я тебе говорю... тебе... что ты так смотришь?.. беги, говорю, и уводи скорей Марике; это — немцы. Да ты не понимаешь, что ль, не слышишь, что я тебе говорю? Матье! Матье!

Грохот смолк, но, очевидно, на дверь набались. Она затрещала. Альберт бросился в переднюю, шепнув Луизе:

— Велите им бежать скорей... а я пойду, задержу немцев как только можно.

Матье, наконец, понял, что происходит. Он быстро отвернул с места скульптурную группу медведей, поднял Марике и повел ее к открытому входу в подzemелье.

— Идем, идем, Марике... сюда ломятся немцы... идем скорее...

Марике поднялась. Ее лицо казалось спокойным, но спина сгорбилась, как будто на нее взвалили тяжесть, которая вот-вот придавит ее к земле.

— Иду, Матье... я иду... не поддерживай меня...

Они были уже у самого спуска, как вдруг Марике остановилась.

— Нет. Я не могу... Я вернусь...

— Погибнешь, Марике...

— Там, в моей комнате... все, что осталось нам от Ренэ... Я приду после...

— Марике... спроси Альберта, куда...

Марике не дослушала, она уже взялась за рычаг, чтобы закрыть ход в подземелье. Матье хотел было приласкать жену. Но чувство горя, самое стыдливое и самое исключительное из всех душевных состояний, остановило его. Истинная печаль не допускает рядом с собою никакого иного чувства. Матье испугался, как бы не оскорбить Марике утешеньем, хотя бы и безмолвным. Он спустился вниз. Марике повернула рычаг.

Слышно было уже, как Альберт открывал дверь на улицу. В музей уже донеслось с порога звяканье солдатских кованых сапог о плиты каменного пола. Марике и Луиза пробежали наверх в свои комнаты.

В переднюю вошли майор, капитан, штабс-фельдфебель Магуна, человек десять солдат и среди них те, что производили вывоз вещей из музея, Филипп и Бернгард.

Майор был возбужден и встревожен. Он приказал капитану произвести в доме обыск. Альберт решил, что немцы продолжают игру с обвинением его в «рахищении городского имущества».

Часть солдат, во главе с коротконогим, спустилась в шолуподвальный этаж, где был расположен музей. Другая часть, предводительствуемая капитаном, отправилась в комнаты Марике и Луизы, а фельдфебель Магуна с тремя солдатами поднялся в мансарду. Альберту же майор велел следовать за ним в его собственный кабинет в бельэтаже.

Майор сел за письменный стол и показал Альберту

на кресло, куда Альберт обыкновенно приглашал садиться проходящих к нему посетителей.

Майор, не говоря ни слова, стал по-хозяйски открывать один за другим ящики письменного стола. Из одного ящика он вынул бумагу, осмотрел ее; она ему не понравилась, и он бросил ее обратно в стол. Обыск ему, видно, сразу наскучил.

Майор вытянул ноги, посмотрел на потолок, достал портсигар и широким жестом расчистил перед собой место на письменном столе. От взмаха его руки со стола полетела на пол старинная валонская миниатюра, которую утром рассматривал в лупу Альберт.

Альберт взглянул на упавшую валонскую миниатюру. Ему хотелось поднять ее, но он удержал себя от этого.

— Не беспокойтесь, господин ван-Экен, пусть ее валяется. Это мне не мешает. Я вот зачем вас позвал сюда: вы дорожите городской стариной, а наш штабс-фельдфебель Магуна нашел в круглой башне старую муниципальную переписку. Я распорядился отдать эти архивы вам. Читайте их и оберегайте. Видите, как мы вам доверяем.

Альберт ничего не ответил. Майор же, как после трудной работы, потянулся всем телом, посмотрел на потолок, зевнул, закрыл глаза, но вдруг стремительно вскочил и, подбежав к Альберту, закричал:

— Где ваш брат?

Альберт улыбнулся этому наивному приему.

— Я не знаю, где мой брат.

— Ван-Экен, я вижу вас насквозь. Вы думаете и нам служить и кому-то еще угодить! Детские иллюзии! Забудьте думать об этом, а то голова ваша полетит к чорту.

— Я вам говорю: я не знаю, где мой брат.

— А я вам говорю: почему вы так долго открывали дверь? И еще я вам говорю: если этот мерзавец был здесь, то ему отсюда не уйти. Поняли? Он опо-

здал, если думал устроить себе здесь логовище. Я распорядился оцепить весь ваш участок. Я его опередил. Мы переводим комендатуру в ваш дом. А невестка ваша где сейчас?

— Здесь.

— Где здесь?

— Где была, — в этом доме.

— Лжете: ее увел с собою муж. Я вас научу говорить правду. Видели этот стэк?

— Видел.

Майор замахнулся. Альберт стоял спокойно.

В кабинет вошел капитан.

— Где особа? — спросил майор, — сбежала?

— Имею удовольствие доложить, что эта дама здесь, на месте. Она изволила плакать и проклипать, когда у нее отобрали семейные фотографии.

— Bravo, bravo, капитан, bravo! А вы ван-Экен, — теперь я верю, что вы не знаете о брате. В городишке же сейчас очень беспокойно, что-то в глазах у всех... такое... хари какие-то наглые на улице... в глазах мысли... У вас сейчас блестящий случай доказать нам вашу преданность...

Майор достал из ящика письменного стола бумагу.

— Пишите, ван-Экен.

— Я не знаю, что я должен писать.

— Не знаете? Посмотрите на часы. И теперь не знаете? Вам капитан дал час на размышление. Прошло уже больше трех часов. Размышление мы даем не для отказа, а для согласия на то, чего мы требуем.

— Я обдумал. Я не приму от вас никакого назначения.

Майор постучал пальцами по столу. Сделал скучающее лицо. Достал из левого верхнего кармана сигару. Откусил конец. Выплюнул его в сторону Альберта. Осмотрел сигару. Обнюхал ее и швырнул в угол на ковер.

Капитан улыбнулся от приятного ожидания, как

улыбаются зрители, следя за приготовлениями фокусника к решающему эффекту.

Майор заметил улыбку капитана и нарочно продлил сцену. Он достал новую сигару, теперь из правого верхнего кармана. Аккуратно снял с нее колечко и показал капитану.

— Отборная гавана.

Откусив конец и выплюнув, он позвонил.

Вошел фельдфебель Магуна.

— Распорядитесь, Магуна, чтоб сюда вошли Бернгард и Филипп и чтоб принесли мне спичку.

Майор встал, постукивая стэком по голенищам. Вошли коротконогий и румяный.

Майор показал на сигару. Румяный поднес спичку. Майор закурил и сказал вяло:

— Отведите этого бельгийца, — майор показал на Альберта, — приготовьте его к расстрелу. Подать команду выйду я сам. Капитан, где бы, по-вашему, лучше расстрелять эту фигуру? Я думаю, лучше здесь же, возле дома. Вы согласны? Очень хорошо. Я сам выберу место. Бернгард, уведите.

Альберт был спокоен. На душе у него стало легко: «Вот все и кончилось, вот я и выдержал испытание, — вот все и стало ясно, и вот больше уже ничего не надо решать».

Когда солдаты с Альбертом вышли, майор захохотал. Капитан спросил:

— Вы действительно хотите его расстрелять?

— А чорт с ним! Он мне больше ни на что не пужен. И вообще, он мне противен. И он может оказаться опасен для наших войск.

— Я бы подождал. Этот утиль может еще быть использован в виде какого-нибудь эрзаца. В нем есть податливость.

— Вы ходатайствуете за него? Берегитесь, капитан, вы проявляете мягкость.

Майор снова захохотал.

— О нет, майор, мы меня не поняли. Я доволен: бельгийка лишится непрошеного опекуна и будет только на одном моем попечении.

— Я думаю, ее следовало бы объявить заложницей. Что вы скажете, капитан? Расклеить бы об этом афиши по городу. Пусть узнал бы бандит, ее муж. И жителям было бы веселое чтение. Они чересчур разволновались. Я им кровь спущу, чтоб успокоились и не саботажили. Я для них устрою камерную музыку в погребе, пиф-паф, пиф-паф. А как вы думаете, капитан, может быть, ее мужа в этом доме и не было вовсе? Может быть, нам наврали? Может быть, в городе ничего и не готовится? А? Как думаете, капитан? Может быть, мы напрасно впали в панику? Может быть, нам с вами по этому случаю выпить бутылочки две-три доброго бургонского? Ради новоселья?.. И пригласить эту дамочку... ко мне на колени... А? Что скажете, дорогой капитан, на это?

— Отчего не выпить? От бургонского, дорогой майор, я никогда не отказываюсь. Я прикажу подать «Грав». Но бельгийкой вы не оперируйте. Она моя майор.

— Почему ваша?

— Потому что я вас прошу оставить ее мне.

— А я вам отказываю в этой просьбе. Я хочу ее взять себе.

— Я к вам обращаюсь с просьбой в первый раз, дорогой майор.

— В первый раз вы и получаете отказ.

— Я сделал для вас немало.

— Это — сентиментальность, капитан. Я — старше по чину, я делю военную добычу.

— Я могу вам пригодиться, майор.

— Я сам умею ходить без костылей, капитан.

— Не самомнение ли это, майор?

— Капитан, не забываетесь!

— Извините, я хочу сказать, что в городе не так



спокойно, как вы сейчас мне внушали. Вы порывисты, но беспечны. Ваша доверчивость играет на руку врагу.

— А вы что же, уже стряпаете на меня донос в этом духе?

— А вы что же, майор, просите меня, чтоб я скрыл от командования вашу беспечность? Тогда попросите как следует, и я подумаю, а то ведь по вас давно скучает русский фронт...

Майор деланно засмеялся.

— Ах, капитан, какой вы неговорчивый. Хотите, помиримся?

— Я не ссорился с вами. Я говорю и делаю только то, что вели мне долг перед фюрером и империей.

— Правильно, правильно, капитан. Мир, мир. Знаете что? Давайте мы эту дамочку разыграем между собой. Это будет вполне по-солдатски. Пусть, черт возьми, решит жребий.

Капитан предложил майору большую сумму отступного. Но майор настаивал на жребии. Им овладело злобное упрямство. Он готов был броситься на капитана. Видя это, капитан согласился.

Майор подбросил монету. Монета, улав, покатилась под кресло. Майор осторожно отодвинул кресло. Оба стремительно нагнулись. При этом толкнулись плечо о плечо. И оба почувствовали ненависть и омерзение друг к другу от этого соприкосновения.

Выигрыш достался капитану. Разглядев монету, он тоненько хихикнул и предложил майору взглянуть. Майор ударил каблуком по монете.

— Сволочная монета! Таким... как вы, всегда везет.. Вы на меня постоянно доносы пишете. Думаете, я об этом не знаю?..

— А вы со мной когда-нибудь чем-нибудь делились? Все, что добудете, берете только себе...

— Да вы же, капитан, не солдат... Вы — крыса, вы — чиновник, вы — кляузник, вы — идеолог, вы —

мыслитель, вы — болтун, вы — плутократ. Фюрер скоро прикажет вешать таких, как вы... Да что там много разговаривать: я вам эту самку не отдам. Подумаешь — какой-то дурацкий жребий будет мне помехой.

— И это, вы скажете, майор, будет по-солдатски? Вы же сами предложили жребий.

— Что ж, что сам предложил? То предложил, а то переменил желание.

-- Вот так по-рыцарски!

— А разве мы с вами обещали по-идиотски держать свои обещания? Самка будет моя, не ваша. И кончено. А то ведь известны способы... например, неосторожно со мной в разговоре погорячитесь, — с вами удар может случиться... понимаете?.. В вашем возрасте это естественно... и похороним вас без лишних формальностей...

Капитан посмотрел на майора долгим взглядом, весь трепеща от бессильного трусливого гнева. Майор выдержал этот взгляд, нагло поитрывая стэком. Тогда капитан сказал:

— Дорогой майор, нас с вами не напрасно считают образцом доброй солдатской дружбы. Много мы вместе видали и делали дел. Не будем ссориться. Я по собственному моему желанию уступаю вам эту женщину.

После этого майор и капитан дружески распили несколько бутылок бургонского «Грав», ароматного, как весенние цветы, и золотистого, как холодный осенний закат.

★ ★ ★

Бернгард и Филипп с Альбертом ожидали в передней. Бернгард ворчал:

— Майор всегда заставляет ждать и всегда напрасно беспокоит солдат. Никогда не расстреляет сразу. Всегда тянет. А зачем?

— Чтоб чувствовали, — ответил со смехом Филипп, — и помнили.

— А не все ли им равно, этим свиньям, лежать в яме. Я бы не возился попусту. По-моему, скорее бы паф-паф, и воздух был бы чище.

Альберту хотелось думать о предстоящей близкой смерти. Но он не мог сосредоточиться. Его рассеивали разные мелочи, — румяное глупое лицо Филиппа; короткие и кривые ноги Бернгарда. Его раздражала также икота Бернгарда, которую тот без успеха старался сдерживать.

Альберт чувствовал удовлетворение, что теперь ему не надо делать никакого выбора, что все кончилось само собою и без его прямой воли. Но все-таки он перебирал и перебирал в мыслях, как он задумал было схитрить с немцами, выиграть время, выждать, не будет ли каких резких изменений в ходе войны; как дальше приехал Матье и как в нем, Альберте, снова вспыхнула и обострилась ненависть к надменным, наглым немцам. Он спросил себя, так ли он поступил, как надо, не лучше ли было попробовать довести игру до конца. Затем он спохватился, что все эти расчеты и прикидки теперь запоздали и стали уже ненужными. И вдруг его смерть показалась ему бессмысленной. Он затревожился, что будет теперь с реликвиями. В нем шевельнулась досада на Матье, на его приезд, на его неожиданное вмешательство в ход событий, которыми, кто знает, он, Альберт, один, может быть, сумел бы лучше управлять.

Поймав себя на этих мыслях, Альберт огорчился: неужели так ничтожны его мысли и неужели так мелки его сожаленья за миг перед концом; почему он не может собрать свои ощущения на большом и значительном, а рассеивает их на суетное и пустое; не так он представлял себе свои минуты перед смертью. А может быть, все оттого, что он измучен и стал равнодушен к своей собственной смерти. Его

ужасала участь Марике и что будет с Матье, если Марике погибнет.

Альберт не сразу заметил, как передняя постепенно наполнилась людьми: они входили один за другим, поодиночке и группами. Очнувшись от своих дум, он услышал тарахтенье моторов у подъезда. Очевидно, подъехало несколько автомобилей.

Все вошедшие были офицеры. Судя по их виду, они прибыли издалека.

Альберта изумило, что они входили тихо и держались молча: все они были угрюмы; некоторые поживались от холода или, может быть, от внутренней дрожи. Казалось, какая-то внезапная беда ошеломила и оглушила этих людей, казалось, что, только приехав, они уже ждут, когда им скажут куда-то ехать вновь дальше. На Альберта никто из них не обратил внимания.

Они вытянулись, когда вошел полковник. Тот, не глядя на свою свиту, прошел, сопровождаемый фельдфебелем Магуной, в кабинет, где были майор и капитан.

Из-под тяжелого камня давящей тоски у Альберта в сердце чуть зажегся огонек надежды: может быть, случилось что-то неприятное для врагов.

Проводив полковника в кабинет, Магуна велел Филиппу и Бернгарду стать с Альбертом в сторонку.

— Придется долго ждать. Майор будет занят.

Бернгард рискнул спросить, нельзя ли расстрелять без майора. Магуна отказал.

\* \* \*

Матье, выбираясь из подземелья, разглядел через куст, который маскировал выход, что недалеко от ручья расхаживает немецкий часовой и дальше, возле сада, другой. Ему стало ясно, что участок оцеплен войсками. Он решил вернуться в подземелье и дожидаться, когда туман станет гуще.

Тревога забила в его сердце: что будет с Марике, с братом, с Луизой? Подняться в комнаты он не решился, опасаясь, что там обыск и засада.

В подземельи пахло сыростью. Где-то через однообразные редкие промежутки ударяла лениво падающая капля.

По стертым, смешавшимся звукам, иногда, волной долетавшим сверху, нельзя было точно представить, что происходило в доме: какие-то смутные шорохи, изредка людские голоса.

Матье сидел на камне и слушал. Темнота не редела, хоть глаз и начал привыкать к ней.

Матье ослабел от духоты. Голова его склонилась, и он сразу провалился в дремотное небытие. Но, едва забывшись, вдруг вспыхнул от режущего волнения, ему почудилось, что кто-то, где-то близко, над самой его головой, прокричал или застонал.

Матье вскочил, хотел бежать вверх. Вслушался: все тихо, ниоткуда ни звука. Он снова опустился на камень. Дремота и усталость совсем прошли, осталась только томящая тревожность, спрятавшаяся в сердцевинке каждого его мускула; было ощущение, как будто вынули из тела все кости.

Матье стал думать. Но думать он мог, — с тех пор как погиб сын, — только об одном: Ренэ нет, почему нет Ренэ? Да это были и не думы; он просто спрашивал себя без конца: так ли оно в самом деле? Неужели так это и будет? Неужели не случится так, что Ренэ вернется? Неужели нельзя все это изменить, неужели нельзя сделать, чтоб было все, как было раньше?

С тех пор как он получил страшное известие, никогда ничто не могло отвлечь его мыслей от Ренэ. Был ли он один, или на людях, был ли занят, или был без дела, — все равно где-то в глубине билась мысль: а Ренэ нет. И даже чаще эта мысль становилась особенно резкой, когда Матье был, каза-

лось, целиком поглощен каким-нибудь занятіем, беседой, созерцанием. Вдруг, среди делового разговора, когда Матье подыскивал слова, аргумент, перед ним вставала мысль: вот ты думаешь, вот ты говоришь, вот ты смотришь на лица людей, а Ренэ нет, почему Ренэ нет, неужели Ренэ не будет никогда?

И если бывали минуты, когда утихала острота его боли, это казалось Матье оскорбительным: неужели допустимо и возможно отвлечение от той светлой и чистой печали, которая теперь стала самой глубокой и лучшей частью его души.

Сквозь свою печаль он стал видеть жизнь иную. Она предстала перед ним более суетной и более великой. Он стал мягче и снисходительней к людям: он полюбил их больше; они стали ему казаться менее дурными, но и более ничтожными. Сознание долга перед родиной, перед соотечественниками, перед близкими в нем возросло. Свойственное ему по натуре жизнелюбие не замутилось. Но он еще не знал, будут ли у него силы, чтоб жить, или их неостанет. Он потому и поспешил в свой город, когда там представился случай для дела. А теперь, приехав сюда, увидел, что растравил свою рану. Здесь все напоминало ему о Ренэ.

И вот теперь, сидя один, в темноте и чуть колеблемой тишине, Матье спросил себя, — спросил и ужаснулся, — а что будет с ним, если он потеряет и брата, если он потеряет — еще страшней представить — и Марию. Да и Луиза была частицей его жизни. И мысль его сейчас же перескочила, как будто испугавшись, а может быть, не испугавшись, но осмелев и рискнув коснуться до конца всего: а родина? А Бельгия? Если она будет навеки унижена и порабощена? Во что верить, что любить, какую мечтой жить? И мысль снова перескочила: где-то здесь, близко, наверху, немцы... Надо во что бы то

ни стало довести до конца задуманное дело, ради которого он сюда приехал. И снова неожиданный скачок мысли: Матье увидел себя в молодости, как он идет по улице, улице хорошо знакомой с той поры, когда он носил короткие штанишки и однобортную куртку со светлыми блестящими пуговицами; а теперь он будто ведет за руку Ренэ, ведет его в школу, и Ренэ спрашивает отца, спрашивает без конца обо всем, что попадает ему на глаза, и Матье отвечает невпопад, потому что его занимают не вопросы, а белокурая головка сына и возбужденные глазки, в которых играют отсветы весны, неба и счастливая безмятежность.

И вдруг Матье почудилось снова, что где-то раздался стон. Он прислушался, — слышно только, как падает капля об пол и как стучит его собственное сердце.



В кабинете Альберта в это время происходило совещание между капитаном, майором и приезжим полковником.

Полковник был оживлен, возбужден, глаза его горели, жесты были резки, размашисты. Он разговаривал стоя, не желая сесть, не расстегивая плаща и не снимая дорожных перчаток. Он был высок, худощав, смугл лицом и больше похож на француза, чем на немца, да и фамилия его звучала на французский лад, — Летуле.

Майор слушал полковника тоже стоя. Лицо майора было бледно, взгляд растерян, нижняя губа оттянута.

Полковник вручил майору как начальнику гарнизона и железнодорожного узла два письменных приказа командования. Один: «К рассвету сформировать железнодорожные составы для отправления к границе Германии воинских эшелонов, перебрасы-

ваемых на русский фронт и прибывающих под командованием полковника Летуле на автомобилях из гарнизонов Северной Франции»; второй: «По сформировании эшелонов сдать начальствование над гарнизоном п железнодорожным узлом капитану Пфлюграду, а самому перейти в распоряжение полковника Летуле, с которым и отправиться на Восточный фронт».

Капитану тоже был вручен приказ о принятии дел от майора при отъезде того на Восточный фронт. Прочитав, капитан сейчас же обошел стол и сел в кресло, за которым перед этим сидел майор.

Но лицо капитана хмурилось, и он держался с полковником нелюбезно. Капитан сразу узнал в полковнике баденца. Как старый пруссак он не любил баденцев. Он их считал «тронутыми французским гниением». К тому же у него была давняя примета, — капитан был суеверен, — коли новоздело начинается через руки баденцев, то надо ждать беды.

Полковник говорил громко и горячо. Он рассказал только что полученные в штабе новости: взятие Москвы ожидается с минуты на минуту; с юго-востока рязанская дорога перерезана; с севера немецкие войска перешли волжский канал, с запада немецкие танки почти в предместьях Москвы; уже виден в бинокль Кремль, уже назначен фюрером парад на Красной площади.

Полковник радовался, что он едет на восток; он говорил о романтике войны, рассказывал о том, что с начала похода в Россию он надоел начальству просьбами отправить его туда, где он мог бы утолить присущую каждому истинному тевтону жажду крови и опьяняющего истребления.

— Я подал десять рапортов и наконец-то добился своего: еду, еду на зов бога войны!

Капитана все раздражало в полковнике. Раздражало, что у полковника смуглое лицо; что у него



топкая талня и не выдается живот, как у самого капитана, раздражало, наконец, что этот баденец говорит так, как шло бы говорить только хорошему пруссаку. Капитан с удовольствием говорил бы такие же звенящие слова, если бы только не было риска, что его самого могут послать в Россию.

Особенно же огорчало капитана сознание, что все отношения в армии, по сравнению с войной четырнадцатого — восемнадцатого годов, усложнились и он теперь не всегда угадывает, как надо держаться. Капитан с начала своей службы в армии был приверженцем взглядов «старогерманцев» — «альтдейтшеров». Он исповедывал только один символ веры: «Германия надо всем миром, а Пруссия надо всей Германией». Быть пруссаком тогда оказывалось вполне достаточным для его карьеры и продвижения по службе. А теперь в дело вмешалась национал-социалистская доктрина, обокравшая, по мнению капитана, основные взгляды «альтдейтшеров» прусских «старогерманцев». Быть просто пруссаком уже теперь недостаточно. Капитану же трудно так искусно жонглировать преданностью постоянно меняющейся доктрине фюрера, как делают молодые офицеры. И вот он, пруссак, вынужден из-за того постоянно уступать дорогу молодым мальчишкам, вроде этого самого полковника Летуле, даже если эти мальчишки и не пруссаки, а какие-нибудь баварцы или баденцы.

«Почему же в самом деле, — думал капитан, — он, Пфлюградт, только капитан и ниже по службе даже этого дурака-майора, а какой-то баденский сопляк Летуле уже полковник.

Так всегда бывало с капитаном: маленькие поощрения по службе его обижали и приводили в бешенство, они только напоминали о неудаче всей его карьеры.

Обозленный и взвинченный такими мыслями, ка

питан начал докладывать полковнику, что сформировать эшелоны к рассвету не удастся, что среди бельгийского железнодорожного персонала дисциплина расшатана, что всюду брожение, беспорядок, непокорство, отсутствие трепета и страха перед немецкими властями.

Капитану было приятно досадить этим сразу обоим слушателям, и полковнику, и майору, — как бышему начальнику гарнизона и железнодорожного узла.

— Капитан Пфлюградт говорит неправду, — крикнул майор, — бельгийцев можно заставить сделать все, что мы хотим.

Полковник Летуле одобрительно улыбнулся.

— Очень хорошо, действуйте, майор. Что вы хотите предпринять?

— Я снесу с лица земли весь городишко, если они вздумают саботировать.

Капитан пожал плечами и развел руками. Полковник засмеялся:

— Вы, мой друг майор, прекрасный, видно, парень. Но вы забываете, что мне надо отбыть не позднее, чем на рассвете. А воздействие террором не успеет достигнуть желанной цели так быстро. Положим, вы их перестреляете, но мне-то надо, чтоб кто-то сейчас же начал готовить паровозы и формировать составы из вагонов.

— Ах, чорт возьми, — простодушно сказал майор, — я как-то не подумал об этом.

Полковник Летуле ударил майора перчаткой по плечу.

— Я вас пошлю в огонь, в самые опасные места, майор; вы должны быть прекрасным рубакой. Но я вынужден просить не вас, а нашего уважаемого капитана помочь мне в данный момент. Что вы предложите, капитан?

Капитан улыбнулся.

— Вам, полковник, хорошо было известно в штабе, что здесь не к месту применялась мягкость и вместе с тем очень часто не использовались в наших целях те элементы из бельгийцев, которые мы могли бы заставить проводить наши предписания.

— Я это знаю, капитан. Но что вы можете сделать сейчас же, в эту же минуту, немедленно же?

Тогда капитан вызвал Магуну.

— Ван-Экен еще не расстрелян, Магуна? Вы, майор, позвольте мне распорядиться этим бельгийцем по моему усмотрению? Позвольте? Очень хорошо. Благодарю вас, майор. Велите, Магуна, привести ван-Экена сюда.

Но прежде чем Магуна вышел, капитан задержал его и передал ему шопотом еще одно приказанье, добавив к концу громко:

— Посмотрите на ваши часы. Вы вернетесь ко мне ровно через три минуты тридцать секунд после того, как введете сюда ван-Экена.

★ ★ ★

Когда Альберт вошел в кабинет, ему хотелось прочесть на лицах врагов, какая их постигла беда; ему хотелось верить, что он сейчас услышит, что военное счастье изменило немцам.

Капитан пригласил Альберта сесть. Полковник Летуле отошел к камину, делая вид, что у него нет никакого интереса к происходящему.

— Мы решили отменить ваш расстрел, господин ван-Экен. Это не помилование. Вы его не заслужили. Но просто это стало ненужным. Вы свободны, ван-Экен, и можете идти на все четыре стороны.

Альберт от неожиданности растерялся и остался сидеть, еще не справившись со своим удивлением.

— Чего же вы сидите, ван-Экен? Прием кончен. Я вас больше не держу. У меня для вас нет больше времени.

Альберт медленно поднялся. Он недоумевал. Он еще не решался сделать шаг и переступить через порог от смерти к жизни. Отмена смерти показалась ему несчастьем и как бы наказанием за все те ничтожные, суетные сожаленья и мысли, которым он перед тем предавался.

Капитан улыбнулся подчеркнуто ласковой улыбкой.

— Вы интеллигент, господин ван-Экен, и вы не можете принять подарок судьбы, не уяснив себе причины. Это немножко смешно. Но я объясню вам: мы выиграли битву под Москвой, русская столица взята, русской армии больше не существует, вся континентальная Европа капитулировала перед Германией, война выиграна нами, и нам теперь не опасны враждебные элементы вроде вас. Нам не нужна ваша смерть. Но, конечно, и ваша жизнь нам не будет нужна, когда мы будем устраивать здесь, в Бельгии, новый порядок. Можете убираться на все четыре стороны.

Вошел Магуна и подал капитану депешу. Капитан вначале взглянул на часы: точно ли Магуна вошел через три минуты и тридцать секунд. Затем капитан сделал вид, что читает поданную ему бумагу. Прочитав, он протянул депешу Альберту.

— В знак моего расположения к вам, я вам доставлю удовольствие: почитайте, это — сообщение штаба о нашей полной победе под Москвой.

Альберт успел рассмотреть только заголовок: «Совершенно секретно, штаб генераль-командо...»

Капитан вырвал депешу у него из рук.

— Прочитаете завтра в газетах... господин полковник недоволен, что я вам показываю служебную депешу... идите ван-Экен, чтоб вы больше никогда не попадались на моей дороге.

Альберт прошел через толпу офицеров в передней и вышел на улицу.

Перед ним встала однообразная и унылая пустыня плотного серого тумана, в которой, казалось, потонул и исчез весь живущий мир. Всякая надежда умерла в душе Альберта.

\* \* \*

— Я не пойму, зачем вы его отпустили, капитан? — спросил Летуле.

— А я не отпустил. Сейчас прикажу Магуне привести его обратно. Я только дам ему пройти через коридор и выйти на улицу, чтоб остаться на минутку одному, и верну сюда. Не улыбайтесь, полковник, и не качайте скептически головой. Я много раз применял на практике некоторые мои собственные психологические методы... Майор, вы, конечно, далеко не теоретик, но не машите рукой и дайте мне рассказать... Вы, полковник, не слышали о моем труде: «Тотальное воздействие на допрашиваемого. Практические методы подавления воли и приемы психической тренировки людей низших рас для производственных целей империи». О, это очень интересно! Но, позвольте, я вначале отдам распоряжение Магуне.

Капитан вызвал Магуну:

— Верните ван-Экена. Но не вводите его сейчас же ко мне. Заставьте подождать... Теперь я продолжу, полковник. Видите ли, воздействие страхом великолепно как средство, предупреждающее определенные поступки рабов и покоренных. Но для возбуждения у них добровольного стремления к деятельности, полезной в интересах империи, одного страха не всегда достаточно. Нужно еще, во-первых, дезорганизовать те стимулы, которые истари привычны для данной расы... У меня в труде есть сводная таблица методов. Я указываю там шесть методов развращения воображения, три метода возбуждения вражды и недоверия к товарищам по несчастью, —

хорошо, хорошо, не буду утомлять подробностями... во-вторых, нужны методы порождения иллюзий. Это очень интересно, полковник. Вот, возьмите, видели вы фельдфебеля Магупу? Это мой страстный последователь. Он не расстается с моим трудом, и сам сочинил на основе моих теорий таблицу устрашений и побуждений.

Майор захохотал.

— Берегитесь, господин полковник, капитан прочтет вам сейчас ученую лекцию. Я уже засыпаю.

— Не спорю с вами, майор, и не буду от вас скрывать, полковник: как все ученые, я немножко педант. Я из Кенигсберга. Кант тоже был педант, но это был гнилой почитатель человеческой личности. В отличие от Канта я хочу сделать науку средством морального сокрушения и развращения врага.

— Может быть, майор понимает, но я, капитан, не понимаю, какое все это имеет отношение к ван-Экену и к данному случаю.

— Объясню очень охотно. Сейчас нам нужно немедленно сломить саботаж бельгийских железнодорожников. Страх не создаст мгновенно стимулов для работы. Нам некогда применять устрашения. Зато мы можем мгновенно посеять среди этих людей сомнение в своей правоте, разлад, взаимное недоверие и можем мгновенно разбить их сплоченность, уничтожить их желание держаться всем вместе заодно; у них появятся колебания: кое-кто из них захочет из оппозиции к другим работать на нас добровольно; кое-кто примкнет к этим из подражания, просто следуя примеру, и так далее, и так далее... Не буду вас утомлять ученым анализом. Очень важно, чтоб словесно воздействовали на них в этом смысле не мы, а какой-нибудь ими уважаемый их соотечественник. Вы уже угадываете: самый подходящий для этой цели человек это ван-Экен.

Но как же возбудить у самого этого ван-Экена добровольные стимулы к уговариванию своих соотечественников? Вот в этом-то и вся задача. Все это предусмотрено у меня в таблице семнадцатой. Но до сих пор я не имел случая применить это на практике. На ван-Экене мы сейчас и применим мою семнадцатую таблицу.

Видите ли, изучая средства подавления и дезорганизации воли побежденных низших рас, я спрашивал себя: когда бывает состояние минимальной сопротивляемости у людей, убежденных в своей правоте и наделенных нормальной силой воли? Ван-Экен представляет сейчас, я полагаю, классический пример состояния минимальной волевой сопротивляемости.

Представьте себе: этот жалкий бельгиец поставил себе цель — остаться верным своему ничтожному отечеству; он подкреплял себя в данном намерении тем убеждением, что его бессильное отечество с помощью своих сильнейших союзников окажется победителем в борьбе с таким непобедимым колоссом, как наша империя. Вы скажете, что это у него глупая иллюзия. Несомненно! Но иллюзии и мифы, бывает, создают фанатиков. Во имя своей иллюзорной цели этот ван-Экен решил нагло отказаться от согражданства с нами и приготовился даже пожертвовать для того своей жизнью. Он мобилизовал все ресурсы своей воли, чтобы не отступать от принятого решения. И ему удалось выдержать характер до самой последней черты, когда ему оставалось только пассивно ждать неизбежных следствий того поступка, на который ему пришлось мобилизовать все свои силы. Вот в такие-то моменты наступает ощущение, что дальше ничего не надо делать, что уже больше не понадобятся никакие напряжения. А за этим неизбежно следует снижение настороженности; наступает своего рода успокоение; человеку

кажется, что он уже совершил то, что надо, и он уже может сказать себе «ныне отпускаеши». Это первая ступень снижения сопротивляемости. Как ее использовать? Вот как: этот ван-Экен настроился на такой лад, что события будут развиваться дальше, не требуя уж больше от него никакой активности, и что судьба сама совершит над ним полагающуюся возмездие. И он успокоился. Но, представьте, что в этот момент возмездие не состоится, — человек к нему готовился, а судьба отменила возмездие. В человеке все автоматически уже приспособилось к прыжку, а препятствие убрано, прыгать не надо. Следует нарушение волевой инерции. Разбег сделан впустую. Наступает волевая пауза и дезорганизация. Это вторая ступень расслабления воли. На этой ступени, в минуту волевой паузы, мы можем делать с человеком, что нам будет угодно. Вы понимаете, почему я отменил расстрел? Это для ван-Экена нарушение его волевой заряженности. Он к герою-ству приготовился, а я ему: пошел вон, твоя гибель нам не нужна и не интересна. Это же полная дезорганизация воли, дорогой полковник! Но этого мало. Моя семнадцатая таблица предусматривает еще нечто. В этот момент, именно в этот момент, я убиваю основную иллюзию, мечту, миф, который двигал волей этого человека. Я преподношу ему известие о том, что шансов на победу нет. У него же все надежды были связаны с тем, что русские устоят под Москвой. И вдруг я наношу этому мифу удар. Это третья и окончательная ступень дезорганизации воли. Я правильно рассчитал, что он даже и не заметит, что в депеше, которую я ему протянул, говорится совсем о другом, — он не прочитал бы даже, если бы я не вырвал ее так скоро из рук, — так он был ошеломлен и удручен. Вот почему я заказал Магуне принести мне безразлично какую депешу. Это тоже предусмотрено в моей таблице семнадцатой. Дальше,



он ушел. Он остается один. Он чувствует пустоту...  
Теперь представьте...

Но полковник перебил Пфлюградта:

— Мне нравится ваша философия, капитан! Это дьявольски психологический расчет! Это философия господина, а не раба. Но все-таки вы, капитан, еще ничего не добились от ван-Экена, а говорите так, как будто он уже сдался.

— Это мы сейчас увидим, дорогой полковник!

— Интересно будет убедиться, дорогой капитан!

Капитан потер руки в большом оживлении и велел ввести Альберта.

— Мне стало жаль, господин ван-Экен, и в особенности я пожалел ваших близких, — причем же тут эти две бедные женщины? Но, впрочем, я не о них хочу с вами говорить, а о вас. Вы можете еще найти себе место в новой жизни. На сотрудничество с нами вы показали себя неспособным, и мы вам теперь такой чести больше не предложим. Но помочь вашим соотечественникам вы еще чем-то можете. Нам в первую очередь нужен хорошо работающий транспорт. Если ваши железнодорожники не будут хорошо работать, мы уничтожим и сотрем с лица земли ваш город. Скажите вашим глупым людям, что в их интересах быть умней и работать лучше. Это же нужно для вашей собственной страны. Мы теперь будем ввозить сюда из побежденной России хлеб, и будем ввозить мясо, и будем ввозить мед, и будем ввозить кожу. Ваши глупцы не понимают этого. Скажите им, только два слова скажите, чтоб они работали добросовестно и быстро. И сделайте это сейчас же. Мне надо на рассвете отправить в Россию эшелоны: там теперь закипит работа по организации нового порядка. Если господин полковник одобрит, то можете сейчас же отправиться на вокзал.

Альберт вначале не совсем понимал, чего хочет от него этот немец. Альберт чувствовал только, что

силы его оставляют и что на шее, на груди и на спине у него выступает холодящий и вместе горячий пот. Он оперся о стену и задел рукой висевшую на стене средневековую алебарду. Алебарда загремела, Альберт отпрянул. Ему захотелось: лечь бы, вытянуться бы, и закрыть бы глаза, и забыться бы. Но вдруг его желанья закачались в мечущемся безумстве, — как маятник от одной крайней точки к другой. То ему хотелось броситься на своих палачей, то сейчас же овладевали им деревянеющая тупость и безразличие. То хотелось разбежаться и прыгнуть в окно, а то тянуло опуститься на пол, здесь же, на том же месте, где он стоял. В эту минуту он стал равнодушен ко всему на свете. Его мысли и чувства были опустошены. Но, по мере того как капитан говорил, Альберту казалось, как будто в его душевную пустоту наново входило движение жизни.

Однако по инерции он ответил капитану, что у него только одно желание, одна просьба, чтоб скорее закончили над ним расправу и расстреляли его.

Такой ответ поставил капитана в тупик. Он растерянно заерзал на стуле.

Майор расхохотался, не сдержав радости оттого, что капитан провалился со своей научно обоснованной системой подавления воли. Даже полковник усмехнулся. Отвернувшись к окну, он пробормотал как бы про себя:

— Перемените таблицу, капитан, очевидно, ваша семнадцатая вас подвела.

Хохот майора и шопоток полковника напомнили Альберту, что с ним ведется подлая, низкая, бесчеловечная игра холодных самодовольных палачей.

Ненависть, гнев, ярость воспламенили его. Он схватил висевшую у правой его руки алебарду и бросился к столу. Капитан побледнел. Полковник взялся за револьвер. Майор закрылся портьерой у окна. Кинувшись вперед к столу, Альберт задел ногой

валявшуюся на полу валонскую миниатюру, споткнулся, выронил алебарду и упал в изнеможении на ковер.

Майор подбежал к нему и занес ногу, чтобы ударить.

Но Альберт поднялся. С ненавистью он взглянул на майора. Тот ответил ему взглядом, полным такой же ненависти. Альберт подумал: «Хорошо, господа победители, продолжим игру. Вы играете со мною. Я попробую сыграть с вами.

И сам собою у него сорвался вопрос к капитану:

— Говорите, что вам угодно, чтоб я сделал?

Капитан хотел ответить, но полковник закричал:

— Нет, нет, прикончите, пристрелите этого негодяя.

Но капитан уже торжествовал, что его семнадцатая таблица подтвердила себя и побеждает. Он отвел полковника в сторону и стал просить, умолять дать ему возможность довести опыт до конца. Полковник махнул рукой и предоставил капитану кончать дело, как он хочет.

Капитан спросил Альберта:

— Итак, вы сделаете все, что нам нужно?

Альберт попросил снова объяснить ему, что от него требуют. Капитан повторил. Выслушав, Альберт подумал, лишь бы ему вырваться из дома, а когда он будет среди своих бельгийских железнодорожников, они сумеют понять друг друга. И он еще спросил капитана:

— Что вы намерены сделать с моей невесткой и теткой?

— Они будут поставлены первыми номерами в список заложников на случай, если саботаж на железнодорожном узле не прекратится. Вы, конечно, хорошо знаете, что бывает с заложниками?

— А если я поеду и буду говорить с железнодорожниками?..

Капитан перебил Альберта:

— Господин ван-Экен, пожалуй, довольно об этом. Я уже больше ничего вам не предложу. Если же вы ходатайствуете о чем, то просите господина полковника, а не меня.

— Я бы поехал, если бы мне гарантировали безопасность моих близких.

— Ничего вам не могу обещать, господин ван-Экен. Просите полковника.

Полковник Летуге, поняв игру, не сразу отозвался. Он подождал, пока Альберт повторил два раза свое согласие и свою просьбу. Наконец, не оборачиваясь от окна, он нехотя процедил:

— Ваше мнение, капитан?

— Я думаю, господин полковник, что следовало бы уважить просьбу ван-Экена и дать ему гарантии.

— Что вы предложите, капитан?

— Я предложу, господин полковник, до возвращения ван-Экена с железнодорожных путей поставить к комнатам женщин часовых... и строжайше приказать никого к женщинам не впускать. Я сам по вашему распоряжению останусь здесь и прослежу, чтоб это было сделано.

Майор при этих словах необычайно оживился.

— Зачем же именно вы останетесь здесь?

— Позвольте мне, майор, закончить мою мысль... я говорю, — по возвращении же ван-Экена женщин можно отпустить вместе с ним.

— Разрешаю, — сказал полковник.

— Вы удовлетворены, ван-Экен?

— Да, капитан, я удовлетворен.

Полковник пригласил майора ехать с ним на железнодорожные пути, где будут формироваться эшелоны и взять с собою Альберта.

Полковник вышел. Ожидавшая в передней свита последовала за ним к подъезду дома, где стояли штабные машины.

Несколько приободрившись, майор попросил у полковника разрешения заказать ужин к их возвращению. Майор был лакомка и обжора.

— Здесь столько превосходных лакомств, господин полковник. Бельгийцы понимают толк в еде. Что вы прикажете заказать? У наших офицеров в ходу прекрасное блюдо — сырое мясо, особенно свинина, пропущенное через мясорубку. Его едят с пятаками и перцем густо посоленное. Если вам нравится, то я закажу. Вы, конечно, знаете мули вареные, а также препарированные, как устрицы? Закажу и это. Разумеется, с картошкой «фрит». Бельгийцы называют это блюдо «картошка по-русски». Но я отменил это название. Позвольте вам также доложить, полковник, что жареные сычуги с гарниром из фрита или бараньи кишки, слегка подсушенные на сковороде, — это нечто истинно нордическое! Я приказал отвести на городских бойнях, специально для стола комендатуры, особое отделение, где разделяют внутренности. Я поставил во главе этого отделения выдающегося специалиста по разделыванию сычугов и кишек, бельгийца Иохима Абельта. Этот Абельт стал известен теперь всему штабу нашего корпуса. Сам командующий заходил смотреть на его работу. Абельт, конечно, возится по колено в горячем дерьме. Но это несравненный знаток своего дела. К тому же он предан германским властям, потому что он враг всяких мыслей и истинный друг желудка. Абельт рекомендовал мне пить горячую свиную кровь. Здесь это иногда принято. Но я не решился.

Получив разрешение полковника на заказ ужина, майор отвел в сторону капитана и, пока полковник усаживался в машину, сказал Пфлюграду:

— Капитан, какой негодяй так глупо сочинил, что я будто мягок к неприятельскому населению, и подвел меня под отправку на Восточный фронт? —

Лицо майора обострилось от злобы. — Почему этот выбор пал именно на меня? Почему именно я, а не вы, например, капитан? Скажите, почему?

— Зная вашу воинственность и неукротимость, я подозреваю, дорогой майор, что вы сами хотели того и даже, может быть, добивались через высшее командование.

Капитан издевался слишком явно и открыто. Вскипев, майор поднял стэк.

— Вы не очень торжествуйте, капитан. У меня счет с вами будет солдатский, понимаете? И счет за все... понимаете... за все!

Капитан не пожелал ответить майору. Он поспешил к отъезжавшей машине полковника и крикнул:

— Полковник, согласитесь, а все-таки моя семнадцатая таблица оправдала себя.

★ ★ ★

Когда полковник и свита уехали, капитан заперся на ключ в кабинете Альберта.

Уже темнело, и штабс-фельдфебель Магуна, опасаясь беспорядков, обошел и проверил посты вокруг дома.

Вернувшись, он остановился на площадке около комнаты Марики, где стояли коротконогий и румяный.

— Ну вот, ребята, офицеров нет. Мы одни. Поговорим по душам и откровенно. Придется, видно, ехать на русский фронт. Довольны будете, ребята, если поедем украинские пироги жрать? А если хотите здесь остаться, то я попрошу за вас капитана. Что ты, Филипп, скажешь? Говори откровенно, подружески, это останется между нами.

Румяный осклабился во всю ширь растянутого рта.

— Я рад ехать, господин фельдфебель. Это прекрасно! Я всегда доволен. Хайль Гитлер!

— Ну, если не врешь, я попрошу господина майора, чтоб тебя взяли на русский фронт. Попросить?

— Хайль Гитлер, попросите, господин фельдфебель.

— Я вот тоже, — продолжал Магуна, — сам прошусь на русский фронт. Скорей надо войну кончать, а не нежиться на бельгийских перинах. Воевать, рубить, крови хочется... Ну, а ты, Бернгард, что скажешь? Хочешь на Восточный фронт? — спросил Магуна коротконогого.

Коротконогий, не колеблясь ни минуты, ответил:

— Мечтаю, господин фельдфебель. Только о Восточном фронте и мечтаю. С вами в огонь и в воду. Только бы с вами. Куда вы, туда и я. Хайль Гитлер!

— Ну, молодцы ребята. Я доволен вами. Вы сегодня ночью пройдите здесь по комнатам, организуйте, что есть интересного, принесите мне, я и вам уделю по посылочке для ваших женушек.

Капитан приоткрыл дверь из кабинета и позвал фельдфебеля к себе. «Слушаю приказание!» — прокричал Магуна и бегом бросился в кабинет к капитану.

Коротконогий подмигнул ему вслед.

— Какая сволочь! И как врет! Он-то никуда отсюда не поедет. Его капитан никуда от себя не пустит. Эти два клеща здесь будут сосать доотвала. А ты, Филипп, дурак! Ты как будто серьезно хочешь на Восточный?

— Хочу. Я же, Бернгард, крестьянин. Мой отец воевал в прошлую войну здесь, на западе. Ничего, говорит, на западе хорошего не наживешь... и они здесь мстительные...

Коротконогий рассмеялся:

— А там русские, думаешь, немстительные? Ого-го-го! Партизаны! Мой брат Август пишет из Смоленска...

Румяный его оборвал:

— Не надо, Бернгард. Могут услышать... я боюсь...

— Боишься?

Солдаты замолчали, оба встревоженные и настроенные друг против друга.

Румяный вздохнул и как бы про себя сказал тихо:

— А много в этом доме дорогих вещей.

— Это для твоего крестьянского дома не годится... — ответил коротконогий.

Румяный посмотрел на него недоверчиво, с опаской, и разговор погас.

Магуна, войдя к капитану, вытянулся. Капитан сложил руки на животе и долго рассматривал Магуну, не говоря ему ни слова. Магуна выдержал этот испытующий осмотр. Его глаза приняли выражение восторженной преданности и бездумной доверчивости. Наглядевшись на Магуну, капитан сказал неторопливо и голосом равнодушным:

— Магуна, я пройду сейчас к этой... заложнице... Понимаешь?

— Понимаю, господин капитан. Пост будет убран от двери, господин капитан. Вам никто не помешает.

— Магуна, ты хочешь на русский фронт?

— Как будет угодно господину капитану. Хайль Гитлер!

— Ты останешься со мною здесь, Магуна.

— Разрешите выразить благодарность, господин капитан!

— Но вот что, Магуна... Вернется с вокзала майор... слышишь Магуна?... И майор может спросить Магуну об этой... женщине. Понимаешь, Магуна?

— Понимаю, господин капитан. Магуна ответит: все было в порядке, господин майор, а к женщине, господин майор, никто не был допущен, как приказано было господином майором, господин майор.



— Хорошо, Магуна. Можешь идти... А эти два солдата? Они хотят на Восточный?

— Все солдаты врут, господин капитан. Если спросите их, они скажут, что готовы ехать. Но они услужливы, господин капитан.

— Ты, Магуна, я вижу, хороший для них товарищ.

— Совершенно верно, господин капитан.

— Товарищество, Магуна, есть основа армии нашего фюрера! Запомни это навсегда и разъясни это тем двум.

★ ★ ★

Капитан прошел по коридору к комнате Марике медленным шагом, внешне невозмутимый, но внутренне весь трепеща от неизвестности предстоящего. Он открыл дверь не постучав. В комнате был полумрак, Марике лежала, уткнувшись лицом в подушку. Услышав шаги, она спросила:

— Луиза?

Капитан не ответил; Марике не повторила вопроса. Капитан сделал шага два к постели.

Марике вдруг поднялась, охваченная непонятным ей предчувствием, и увидела капитана.

— Что вам нужно здесь, господин офицер?

Да, теперь она узнала в нем палача ее юности. У нее мелькнуло желание сейчас же бросить ему в лицо все гневное, что многие годы возмущало и оскорбляло ее сердце. Но гордость удержала ее. И она решила скрыть в себе это. Капитан же не узнавал ее. Его первое впечатление, что он где-то, когда-то видел эти глаза, затемнилось вожделеньем, которое им в этот миг владело.

Капитан глупо улыбался. Рука его протянулась к Марике.

— Что вам нужно от меня?! — закричала Марике. Капитан сделал еще шаг ближе к ней. Марике соскочила с кровати.

— Слушайте, — если вы человек, если у вас есть совесть, если у вас есть бог, — оставьте меня, не трогайте меня. У меня большое горе.

Капитан, не слушая, подходил к ней ближе.

— Никто не услышит нас, и никто об этом не будет никогда знать.

Марике бросилась к окну. Но окно было заперто, и штора опущена. Марике повернулась и стала перед капитаном лицом к лицу.

— Уйдите отсюда. Я вас не боюсь. Я вас, пегодяев, не боюсь.

Капитан бросился к ней.

В соседней комнате Луиза услышала режущий вскрик, когда она стояла на коленях перед настольным мраморным распятием, перед которым когда-то молилась ее мать, ее бабушка и ее прабабушка. Она стояла неподвижно, только губы ее слегка шевелились и по лицу текли слезы. Услышав крик, Луиза вскочила и бросилась бежать, не зная еще, куда и зачем.

Луиза ворвалась в комнату к Марике и застыла на месте: она увидела, что капитан сжимал руки Марике и старался поставить ее на колени. Он бормотал:

— Стань передо мной на колени, стань! Целуй мне руки, умоляй меня! Умоляй! И я, может быть, пощажу тебя. Умоляй же.

Марике застонала. Капитан зажал ей рот. Но Марике успела вцепиться зубами в его палец. Зубы ее сжались с силой, присущей коченеющему телу.

Капитан крикнул от боли. Рванулся назад. Боль обожгла его. Он уже ощущал, как он сейчас сожмет своими пальцами горло этой женщины. Может быть, она уступит ему. А может быть, он задушит ее, и то и другое будет сладостно... «А майор? Что делает с ним майор, если капитан убьет сейчас эту женщину, добычу майора?» Пальцы капитана остано-

Вспылились в нерешительности, они вдруг ослабели. Холд прошел по всему его телу. Он почувствовал, что кто-то вошел и что позади у него за плечами в комнате человек. «Это майор, — мелькнуло в его голове, — это он вернулся. Сейчас этот зверь убьет меня. Оглянуться бы! Посмотреть бы! Но нехватает духу. Страшно».

Капитан отпрыгнул в сторону и бросился вон из комнаты, так и не разглядев, кто вошел и кто был у него за спиной.

И только выбежав в коридор, он пришел в себя от страха и тогда понял, что это был не майор. Он хотел было сейчас же вернуться в комнату Марике. Но внутри его еще ползал страх, челюсть его тряслась в неповинующей ему дрожи. С мизинца его капала кровь.

На ходу он обмотал палец носовым платком. Кровь просачивалась через платок и каплями падала на пол, оставляя на крашеном полу дорожку от комнаты Марике до кабинета Альберта.

Как только капитан скрылся в кабинете, Магуна сейчас же вызвал коротконового Бернгарда и румяного Филиппа и снова поставил их у дверей Марике.

Увидев кровь на полу, Бернгард расхохотался. Магуна на него накричал. Но тот не мог унять смех. Филипп же, нагнувшись, деловито сплюнул на круглую каплю крови и сапогом растер. У коротконового смех перешел в икоту.

В кабинете капитан бросился к своей полевой сумке, достал под марлю и торопливо перевязал руку. Орудовать ему пришлось левой рукой, и движения его были оттого неловки. Из сумки выпала щетка, зеркальце, две фотографии в картонной палке и маленький замшевый чехольчик, перевязанный розовой лентой. Укладывая вещи обратно в сумку, капитан юпридержал локтем правой руки край картонной палки и хотел было вытащить левой непораненной рукой фотографии жены и восемнадцатилетней дочери. Но,

не реинившись, вздохнул, покачал головой и сейчас же сунул карточки снова в папку. Затем, также левой рукой, он размотал ленту на замшевом чехольчике, вынул оттуда золотистый локон дочери, посмотрел на него и благоговейно прикоснулся к нему губами. Правую, укушенную Марией руку он в это время занес за спину, чтобы она не была видна дочернему локону.

Усевшись за письменный стол, капитан побарабанил пальцами по макету собора св. Жюстины, расстегнул мундир и достал из потайного кармана дневник.

Он приладил ручку между пальцев правой руки и стал писать: «Дурак и мальчишка получил то, что я для него давно готовил. Командование оценило, наконец, мои сообщения и характеристики: его посылают «для исправления» на Восточный фронт. Пусть будет там этому псу собачья смерть. У Ницше Заратустра говорит...»



Появление немецких офицеров — полковника Летуле и майора — ночью на вокзале и в железнодорожных ремонтных мастерских вызвало тревогу среди персонала.

Распоряжение от высших железнодорожных властей об экстренном осмотре и ремонте пригнанных еще с утра вагонов и паровозов было получено на линии с необъяснимым опозданием, и никакие работы не были еще начаты. На каждом шагу находились препятствия, устранявшиеся низшими немецкими агентами и сейчас же вновь возникавшие.

Известие о том, что вместе с немцами приехал Альберт ван-Экен, уже передавалось от группы к группе. Некоторые, видевшие Альберта с немецкими офицерами, не хотели верить собственным глазам. Высказывались даже догадки, — не переделали ли немцы кого другого под ван-Экена.

Старый сцепщик Мароннье, приятель покойного отца Альберта, носивший когда-то маленького ван-Экена на плечах, многозначительно покачал головой:

— Это не так все просто. Посмотрели бы вы на Альберта. Он прошел совсем близко от того места, где я стоял. Он взглянул на меня и не узнал. Взгляд его был тяжелый. Что-то случилось, чего мы не знаем.

— За шкуру свою дрожит, — выругался машинист Брукер.

— Ложь, — возмутился старик Мароннье, — никогда ван-Экены не дрожали за свою шкуру.

Как раз в эту минуту к группе подошел Альберт. Он хотел заговорить, но у него пропали слова.

— Зачем вы приехали? И почему вы в такой компании, Альберт ван-Экен? — шепотом выговорил старик Мароннье.

Вопросы старика открыли Альберту глаза. Он понял, что одним своим появлением вместе с немцами он лишил себя возможности вести игру против немцев и поставил себя в недостойное, лицемерное положение к своим людям, сразу возбудив против себя недоверие.

Теперь у него была уже иная забота, — о том, чтоб оправдать себя перед своими. Ища этого оправдания, он ответил старику Мароннье:

— Москва взята немецкими войсками, дорогие мои друзья. Война теперь выиграна немцами.

У старого Мароннье показались слезы.

— Я так и ждал. Бедное старое мое сердце не напрасно целую ночь ныло от дурных предчувствий.

Альберт хотел было приободрить старика, но, оглянувшись, увидел приближающихся Летуте и майора.

А дальше, переходя от группы к группе в сопровождении офицеров, он почти машинально повторял:

— Во имя Бельгии, во имя сохранения нашего города... не раздражайте немцев... Москва взята...

Ночь становилась все глуше. С моря нагнало тучи. Между небом и землей повисла льющаяся плотная черная сетка мельчайшего дождя, колеблемая из стороны в сторону порывами налетавшего ветра.

Матье вышел из подземелья. Вся окрестность была затянута непроницаемой мглой. В двух шагах от себя нельзя было различить никаких предметов. Туман задушил все отблески света и зачернил все движущиеся тени.

На улицах заметно было, что в городе усилена охрана. Матье наткнулся на патруль; Матье остановился. А остановившись, растаял в тумане. Патруль не слышал его шагов. Туман был так плотен, что гасил даже звуки.

Матье постучался к самому верному и надежному из своих друзей, мастеру городских боев, Иохиму Абельту.

Абельт за прошлую войну сто семнадцать раз тайно переходил бельгийско-голландскую границу и вместе с Матье переправил из занятых немцами местностей Бельгии в Голландию около четырехсот молодых бельгийцев, которые затем отправились через Англию в бельгийские войска.

Иохим Абельт был опытен в конспирации, предпримчив в делах и быстр на решения, нравом отважен и упорен. Иохим был родом из городка Моресне, который по оплошности картографов при составлении государственных границ после франко-прусской войны 1870—71 годов не попал ни в границы Франции, ни в границы Германии и около пятидесяти лет существовал вне какого-либо государства, управляясь своими силами, а после войны 1914—1918 годов был присоединен к Бельгии. К завоевателям-немцам Иохим чувствовал брезгливость как к нечистоте в доме или паразитам.

Иохим впустил Матье молча; молча же провел в

комнату, показал на стул; сел против Матье; протянул па стол красные жилистые руки и повертел широченными ладонями, как бы спрашивая движеньем корявых пальцев и приглашая Матье говорить. Сам же он был молчалив не меньше, чем Матье. Его лицо, иссиня-красное, было всегда неподвижным. Казалось, что и все чувства его неподвижны. Неподвижность была и в ясных глубоких его глазах. Одно только движенье повторялось у него постоянно и непринужденно: он взмахивал головой, как делает лошадь, когда ей тесен хомут или туго подтянут повод. Эта привычка появилась у Нохима с войны четырнадцатого года после того, как он был расстрелян немцами, а затем, полуживой, найден в яме и спасен другом своим, Матье.

Матье сказал:

— Придет.

— Кто придет? — спросил Нохим.

— А ты не догадался? Альберт придет и будет нами.

Нохим повернул ладони вниз и пристукинул ими по столу в знак удовлетворения.

Матье улыбнулся. Он был уверен, что все его друзья будут обрадованы приходом Альберта.

Он надеялся, что день расплаты с немцами недалек. Его не смущала видимость спокойствия в городе. Все непокорные, подобно ему, давно ушли из родных мест, чтобы вести борьбу там, где они не будут на виду, как в маленьком городке. Те, кто давно посил себе измену родине, продались врагу с первых дней оккупации. Остальные же с трепетом следили за течением войны и ждали решения своих судеб от исхода сражений за пределами их родной страны.

Матье знал, что бельгийцы умеют молчать до нужной поры, но что их решимость, их ненависть, жажда мести зреют в тишине, все нарастая и все абирая силу.

Он верил, что, когда он приведет с собой Альберта, люди скажут: «Час настал, чаша переполнилась».

Иохим рассказал ему, что он представил немцам привезенные Матье рекомендации, сфабрикованные в Брюсселе, и получил от комендатуры все необходимые документы, утверждающие Матье под вымышленным именем в должности подручного Иохима, на городских бойнях в специальном отделении по разделке сычугов и клшек. Недаром у Иохима была репутация человека, вербующего себе помощников только из надежных людей и, как говорил майор, «только виртуозов по сычугам и клшкам».

Таким виртуозом Иохим и характеризовал Матье майору.

Иохим и Матье тотчас отправились к ожидавшим их друзьям. На квартире же Иохим оставил человека, которому поручил, когда придут Марике и Альберт, проводить их в дом кладбищенского сторожа.

Они вышли на окраину города близ юго-восточного предместья, где сохранились остатки рва, окружавшего в древности городской вал и стены.

Была полночь. Ветер переменился. Теперь он дул не с побережья, а с востока, угоня тучи к морю. Туман стал редеть. В восточной стороне неба расчистилась темносиняя прогалина, по которой пробегали клочки уходящих туч, то скрывая, то открывая в далекой выси кристальное сверканье звезды.

— Ночь проясняется. Взгляни, Иохим, звезда!

— Далекая звезда, Матье.

— Может быть, это с московских башен звезда?

— Не погасла ли уже эта звезда, Матье?

— Ничего, Иохим, помощь придет к нам.

— Дождемся ли, Матье?

Они подошли к территории городских боен. Иохим провел Матье через два караула. С часовыми Иохим объяснялся на жаргоне «платдейтш» и был скуп на ответы. Взгляд его был открыто недружелюбен. Он



знал себе цену, а документы у него и у Матье были в порядке.

В специальном отделении все пять помощников Иохима были уже на месте. Немецкий унтер отметил своевременную явку всех на работу, посмотрел, как Иохим распределил новые туши для разделки; полюбопытствовал, как приступит к делу новый помощник Иохима; похвалил новичка и поспешил отбыть в ~~кантину~~ на территории бойни, чтоб пропустить там кружку пива с куском сала; оттуда легко можно было наблюдать за выходом и входом в павильон.

Как только унтер удалился, у двери был поставлен наблюдатель. Он должен был дать знать, если услышит возвращение немца.

Матье хотелось приступить к делу немедленно. Усиленные патрули, которые он заметил на улице, заставляли его предполагать, что сосредоточение войск, назначенных на Восточный фронт, уже происходит. Отправка эшелонов могла начаться, по его мнению, в ближайшие дни. Надо было торопиться с подготовкой взрыва путей и поездов. Осмотр расположенных под павильоном комбинированных стоков показал, что они подводят к железнодорожному полотну возле моста через старинный ров. Почва была найдена удобной для прорытия подкопа под линию. Задержка была за снастью и инструментами. Их должен был привезти шофер бойни, Адам, как бы для работ по очистке засорившихся подземных стоков.

Помощники Иохима сообщили Матье, что уже подготовлены люди, которые будут доставлять сведения о ходе формирования эшелонов на привокзальных путях и что от самого места отправки эшелонов с западной окраины города до юго-восточной окраины, где находятся бойни, на всем протяжении линии пробега эшелонов по территории города будут расставлены в окнах верхних этажей, на крышах и в

слуховых окнах сигнальщики, которые передадут на бойню о выходе поездов.

— А что же, младший ван-Экец придет? — спросил слесарь ремонтных железнодорожных мастерских ван дер Сmissen.

— Ну, а как ты думаешь? — улыбнулся Матье.

— Я так располагаю и опасуюсь, — если не придет, мои сигнальщики, пожалуй, раздумать могут.

Йохим пошел в угол, взял табуретку, поставил ее на видном месте, обтер фартуком сиденье, отошел, посмотрел и, как делал обычно в знак удовлетворения, повернул ладони вниз и пристукнул ими по столу. Все поняли, что табурет приготовлен для Альберта.

Лезанфап, тоже железнодорожный слесарь, веселый и смешливый валон, пропел тихонько из старой солдатской песенки:

Вперед, вперед, красotka-каптиньерша.

Помощники Йохима повеселели. Все налаживалось хорошо.

Вскоре подъехал на грузовике и Адам с инструментами.

Войдя, Адам остановился перед Матье и стал смотреть на него в упор. Смотрел долго и потом горестно покачал головой.

Матье засмеялся. Он знал привычку Адама говорить загадками и придавать таинственность тому, в чем не было никакой тайны.

Но Йохиму показалось в поведении Адама что-то недоброе.

— Ты чего головой трясешь, Адам?

— Скажите мне, зачем я привез эти лопаты? Не понадобятся они.

— Говори без загадок.

— Нас предали.

— Кто?

Адам поспешил отойти подальше от Матве: он хорошо знал характер своего приятеля детства. Отойдя, он показал на Матве.

— Его брат Альберт!

Матве вытянул руки во всю их длину и бросился к Адаму. Лицо его стало синие-багровым. Иохим попробовал задержать Матве. Но тот оттолкнул его.

— Не мешай.

Матве схватил Адама за ворот и поднял перед собой.

— Скажи еще одно слово, и я тебя раздавлю.

Адаму трудно было говорить, горло его было сжато, лицо посинело. Но он знал, что если он будет просить отпустить, то Матве его задушит. Собрал силы, он прохрипел:

— Да! Правда! Альберт — предатель.

Матве бережно опустил Адама. Он унял свою вспышку безумия. Другая мысль — мысль не об измене Альберта, а о том, что станет теперь с Марике, — потрясла его. Матве вдруг начал снимать рабочий костюм, чтобы сейчас же идти искать и спасти Марике. Но он не мог найти пуговиц, пальцы трепетали тревогой. Он сел и попросил Адама:

— Ты должен нам все рассказать, что ты знаешь, чтобы знали и мы. А уж поступим мы, как надо поступить.

Адам рассказал, что он видел и что он слышал на привокзальных путях. Иохим надавил всей тяжестью ладони на стол.

— Зачем же ты, Матве, говорил, что он придет к нам? Ты ослеп?

Матве не заметил гнева в голосе Иохима. Не отвлекаясь от своих дум, он сказал твердо и спокойно, как о хорошо решенном деле:

— Я поручусь тебе, Иохим, он быстро будет обезврежен.

— Как это ты сделаешь?

— Убью его.

Тогда вмешался Адам:

— Напрасно сделаешь, Матье. Все это теперь ни к чему. Москва взята. Русские разбиты. Война кончается. Немцы уже получили известие и торжествуют.

Эти люди так привыкли к неудачам в борьбе против врагов их родины, что встретили весть о новом несчастье без восклицанья, без движенья.

— До последней минуты у меня была надежда, что дело сложится иначе, — сказал Иохим.

Матье попросил Иохима послать Лезанфапа разведать, не пришла ли Марике в дом кладбищенского сторожа.

Иохим посмотрел на приунывших помощников и сказал:

— А вы дело-то не бросайте... хоть и на свозочь работаем, а работа для видимости понемногу должна идти...

Этого как будто и ждали. Все рьяно схватились за работу. Каждый углубился в то, что было перед ним. Но сказать друг другу слово, взглянуть друг на друга — этого избегали, — можно было бы выдать свою тяжелую печаль.

Вернулся из кантины унтер. Остановился у двери. И остался доволен тем, что люди работают молча. Он решил снова вернуться в кантину. Но прежде чем уйти, он вытащил изо рта бельгийскую сигару и сказал:

— Москау ист капут гефаллен!

— Что он сказал? — спросил ван дер Смиссен, когда унтер вышел.

Иохим перевел:

— Москва окончательно пала.

Матье оставил свое место и направился вниз, к стокам, где был спрятан радиоприемник. Никто не спросил его, куда и зачем он идет.

Работа возобновилась. И снова все работали молча.

Матье вернулся нескоро. Когда он вошел, все заметили, что вид его стал иной.

— Лазарь, выйди вон, — торжественно обратился Матье к своим товарищам.

— Какой Лазарь? О ком ты говоришь, Матье?

— Лазарь, воскресни! — повторил Матье.

— Это ты из евангелия? — догадался Иохим.

— Да, старина, я это из евангелия: вы умерли и положили себя в гроб оттого, что сами допустили к себе в сердце смерть, вместе с неверием в победу. Теперь воскресните!

И Матье рассказал, что, спустившись в подземелье, он поймал передачу из Лондона о большой русской победе под Москвою. Все сразу заговорили о том, что надо бы немедленно приступить к рытью подкопа.

Но снова заехал Адам и сообщил, что отправка эшелонов должна состояться в эту же ночь на рассвете. Рытье подкопа становилось ненужным; невозможно было закончить его в такой короткий срок. Однако, возбужденные радостной новостью, они не могли помириться с неудачей. Их надежды окрылились. Их воля напряглась. Люди жаждали дела, продвига, геройства. И Матье понял, что произошел перелом.

И как же в такую минуту отказаться от уже нанесенного удара по врагу?

Выход нашелся. Матье изложил его своим друзьям. Замысел был дерзок: хорошо вооруженной группой, человек в двадцать — тридцать, залечь неподалеку от железнодорожного полотна, разбросавшись среди кустов вдоль старого городского рва; там выжидать сигналов, когда тронутся в путь эшелоны. А когда они станут приближаться, по условному знаку броситься всей группой с разных сторон к полотну, напасть на путевую охрану, стремительно прорваться к рельсам, забросать путь гранатами и вызвать крушение.

Никто не высказался против плана Матье. Никто не усомнился в его осуществимости. Победа русских зажгла их отвагой. В эти минуты все казалось им возможным. И всякое возражение они приняли бы как измену и трусость.

Иохим объявил унтеру, вернувшемуся из кантина, что назначенный урок выполнен и можно распустить людей на короткий отдых.

\* \* \*

Слухи о русской победе под Москвою уже достигли города. Как летний ветерок разносит пушистое цветение деревьев и кустов, наполняя им воздух и усыпая землю, так и эта радостная весть уже реяла над улицами и домами и оплодотворяла сердца надеждой.

Горожане поднимались ото сна. И неизвестно откуда, как и кем занесенная встречала их пробуждение новость о разгроме немцев под Москвою.

Как будто эта желанная весть стояла у изголовий и только ждала, когда, наконец, откроют глаза измученные люди, сон которых был каждую ночь полон кошмаров. Уставши ждать, люди перестали уже спрашивать, как спрашивали до какого-то времени друг у друга по утрам: «Не проспал ли я? Не было ли слышно с побережья пушек, не появлялись ли на нашей земле освободители с запада?» И вот теперь весть о победе пришла, откуда ее не ждали. Пришла издалека. Первая звезда, возвещающая избавление, забрезжила с востока.

Просачиваясь из дома в дом, от человека к человеку, новость облетела весь город. Дошла она и до железнодорожных путей. Там среди людей она зашумела, как весенние ручьи. Все озарилось ею. При встрече человек человека понимал без слов. Одна безмолвная, но освещенная радостью улыбка говорила все. Самые чужие друг другу и самые друг от друга

далекие, обменявшись понятной им улыбкой, становились близкими и родными.

Эта улыбка порхала, как быстрая птица, то спускаясь стрелою к земле, то взлетая вверх и уносясь в необъятное небо. Она кружилась где-то и около немцев, задевая и раня их острым своим крылом. Немцы чуяли ее присутствие, но поймать ее не могли. Она порхала только для своих и исчезала, когда презренный враг хотел увидеть ее волшебное ликование.

Весь железнодорожный персонал преобразился. Кто их знает, — кажется, и не могло состояться у них никакого между собой сговору. Какой сговор мог бы быть на глазах у немцев, под носом Летуле, майора? Но все они вдруг начали действовать, как будто в чем-то сразу поняли друг друга. И как хорошо сыгравшийся оркестр, они все повели устремленную к одной цели сложную игру. А там, где кто-то сбивался с такта, дирижером выступала все та же ликующая улыбка победы. Она то вспыхивала в уголках рта, то загоралась в хитром взгляде, то заставляла человека насвистывать. И дело ладилось, и от человека к человеку переходило точное указание, как дальше поступать и что предпринимать.

Но со стороны нельзя было угадать, что произошло, о чем эта улыбка победы помогла людям без слов договориться меж собой, и какую они себе вдруг поставили цель.

Летуле и майор чувствовали, что с железнодорожниками что-то произошло. Но внешне работа даже оживилась, и потому полковник Летуле в общем был доволен. Его уверили, что можно рассчитывать на отправление эшелонов к рассвету. Он рекомендовал майору вернуться в комендатуру, в дом ван-Экенов, и сделать распоряжения о доставке на железнодорожные пути намеченных грузов из городских складов. Альберта же он приказал задержать на привокзальных

местах работы, пока не будет закончено формирование составов.

Новость о победе русских дошла и до Альберта. Ему шепнул о ней старый сцепщик Мароннье. При этом старик не мог сдержать своего раздраженья.

— Зачем же ты тогда, глупый парень, лез к немцам со своими услугами, а к нам со своими дурацкими уговорами? Что бы сказал твой покойный отец если б тебя увидел?! Ведь какие были ван-Экены-то до тебя, — орлы!! А ты кто теперь?

Но упрек старого Мароннье прошел мимо Альберта. В его сердце, как и у всех, зажглась радость. Его тоже теперь окрылила надежда. Он тоже озарился улыбкой и понес ее к людям как знак своих общих с ними мыслей и чувств.

Вот Альберт идет по линии. Навстречу ему из предрассветной темноты движется человек. Этот человек издали разглядел, что к нему приближается не немец. И Альберт видит при тусклом свете фонарика, как встречный уже несет ему ответную радостную улыбку, — знак тайного их единства против общего врага. Но вот подходит встречный ближе, узнает Альберта и быстро, во внезапном испуге, гасит свою улыбку.

И ни у кого из своих Альберт не встретил ответной улыбки. Никто не захотел поделиться с ним радостью победы над врагами.

Случилось то, чего Альберт в глубине души опасался с первого момента, как дал согласие поехать на привокзальные пути вместе с немецкими офицерами, — он стал отверженным от своих.

От него отвернулись люди в тот момент, когда он всей душой хотел разделить общую радость. И он понял, что нет тяжелее наказания, чем кара, которая теперь обрушилась на него.

От группы к группе, от человека к человеку отверженность наступала Альберта и ударяла ему в лицо.



Ему захотелось уйти от когда-то родной для него толпы; захотелось бежать от угрюмых и враждебных взглядов когда-то близких ему сограждан. Альберт бросился в здание вокзала.

В пустой зале первого класса стояла женщина, державшая за руку девочку лет трех, очевидно, кого-то ожидая. Заметив издали штатский костюм вошедшего, женщина уже засветилась улыбкой, объединившей в эту ночь всех бельгийцев. Но, когда она узнала Альберта, ее лицо мгновенно приняло враждебное выражение. Девочка же продолжала улыбаться. Альберт с благодарностью ответил улыбкой ребенку. Но девочка, взглянув на него поближе, попятилась, схватилась за платье матери, заплакала и, дрожа, спряталась за ее спину. Альберт ужаснулся: не навяженье ли? Неужели и ребенок что-то в нем почувствовал чужое?

По усилиям воли он остановил начинающийся бред. «Ребенок просто испугался незнакомого лица». В это время Альберт увидел себя в зеркале за чахлой иссохшей пальмой. Ему стал понятен испуг девочки: в его глазах были ужас и отчаяние.

Ему показалось, что позади него какие-то голоса что-то ему кричат, не то куда-то его зовут, не то грозят, не то преследуют. Он оглянулся. Перед ним стоял Летуле.

Альберт не понял, что приказывал ему немецкий полковник. Да и не все ли равно было теперь Альберту. Он громко и резко закричал Летуле:

— Извольте молчать! Я вам не слуга. Как вы смеете кричать, негодяй!

Полковник приказал арестовать Альберта. Тот бросился в первую попавшуюся дверь. Вбежав в соседнюю с залом пустую комнату, Альберт быстро запер дверь, а сам прыгнул в открытое окно.

Альберт бежал. За ним гнались. Он, не раздумывая, по чутью находил на улицах знакомые ему с дет-

ства ходы, щели, лазейки, скрывавшие теперь его следы и сбивавшие его преследователей. А в голове у него все повторялась ненужная мысль, — все одна и та же и все из далекого детства, когда он учился в школе: нестари иконописцы и художники изображали Иуду на тайной вечери с лицом черным среди светлых учеников; и он, Альберт, когда был ребенком, всегда боялся этого черного человека и все хотел узнать, как мог тот решиться и зачем решился перестать быть светлым и сделаться черным.

Альберт был уже на берегу канала, недалеко от кустарника, маскировавшего вход в подземелье под домом ван-Экенов. Но на мгновение он попал в поле зрения солдат, которые за ним гнались. Раздался выстрел. Солдаты видели, как Альберт упал.

Но пуля не задела его. Он не смог бы объяснить, почему выстрел заставил его упасть. Он дополз до кустарника и скрылся в подземный ход.

Солдаты подошли, осмотрели место, где упал Альберт. После недолгих поисков они решили, что труп свалился под откос в канал. Полковнику было доложено, что Альберт ван-Экен убит.

\* \* \*

Марике и Луиза услышали выстрел. Сквозь закрытые ставни и опущенные шторы он донесся до них и заставил их встрепетаться.

Они не сказали друг другу ни слова после того, как капитан выбежал из комнаты, и сидели, предавшись каждая своим тяжелым думам. Луиза думала о том, как много необычного случилось за этот день — больше, чем за всю ее долгую жизнь. И ей казалось, что она не выдержит стольких нарушений привычного обихода. Непонятная ей сила овладела ею. Ее подмывало встать, бежать, кричать, звать на помощь, протестовать. Луиза не узнавала себя и с содроганьем спрашивала себя, не предсмертные ли

это судороги ее души, встревоженной необычным течением жизни.

Марике же была равнодушна к тому, что только что с нею произошло, и так же безразлична к тому, что ее могло ожидать дальше. Давно уже, с юности, она послала в себе убеждение, что впереди может быть только несчастье и что ее жизнь обречена на горе. В тот день, когда она была унижена, оскорблена, обещана, она решила, что умерла для счастья. И она перестала его желать и не хотела его искать: ей все грезилось, что есть на свете нечто выше и лучше, чем счастье. Существует ли этому название или не существует, она не знала, но в ней родилось ощущение, что это на свете есть и что это прочней, чем счастье, — чище, свободней и просторней, и так велико, как велика бесконечность. Может быть, это можно назвать справедливостью, может быть, чувством возмездия, — она не знала. Она думала о Ренэ. Вспоминая все прошлое о первом вскрике сына, когда он родился, с его первой беспомощной, ясной улыбкой, — ей казалось теперь, что она в первый же день появления Ренэ на свет знала, что его потеряет, что судьба отнимет у нее сына так же внезапно и насильно, как однажды отняла уже ее светлую юность, а затем, с бегством Матье, отняла у нее веру в свою невинность и разрушила навсегда ее безотчетное поклонение перед своим избранником.

Теперь ей хотелось только одного, — создать себе на земле уголок, где она могла бы отдаваться воспоминаньям о Ренэ, следуя примеру своей матери, бабушки, прабабушки и целому ряду бельгийских женщин в длинной веренице веков, — женщин, свято чтивших «день мертвых» и передавших это почитанье всему своему народу. Она скорбела о том, что не знает и не будет знать, где пал Ренэ, и не сможет никогда прийти на его могилу.

Марике и Луиза сидели рядом, склонившись плечо к плечу. Горячая слеза из глаз Марике упала на старческую руку Луизы. Луиза вздрогнула. И в это время прозвучал за окном тот выстрел, от которого упал Альберт. Луиза вскочила. Она сама не знала почему, — надежда вдруг вспыхнула в ее сердце. Что-то почудилось ей обещающее в этом выстреле.

С тех пор как вошли немцы в город, в течение полутора лет, над городом висела тишина. Покорив все, немцы стреляли только в свои жертвы, но те выстрелы умирали в глухих застенках. Этот же выстрел прозвучал в ночи, как предупреждение, как вызов, как обещание мести! И Луиза не могла уже оставаться без дела. Ей хотелось что-то предпринять. Она старчески засемила по комнате взад и вперед. Она схватила в углу обметалку из петушиных перьев и начала ею сметать повсюду пыль. И вдруг, не сознавая еще, что хочет сделать, она вышла из комнаты с обметалкой в руках.

Бернгард и Филипп прожустили ее. Магуна тоже видел ее проходящей к комнате капитана и не остановил, заметив в ее руках обметалку, хотя и подумал о нелепости уборки комнаты среди ночи.

Луиза, не постучав, отворила дверь в кабинет Альберта. Капитан сидел за письменным столом и писал.

Дверь скрипнула. Капитан поднял голову, — это была Луиза. Капитан вздрогнул, увидя в руках у Луизы... что это? какое-то оружие? Капитан взгляделся, — ему стало досадно на свою мнительность: Луиза держала обметалку из петушиных перьев на длинной и тоненькой палочке. Луиза шла от двери прямо на капитана, шагая машинально, как лунатик. Глухим голосом она сказала:

— Помешать в камине... нужно... я пришла...

Капитану Луиза показалась смешной и глупой. Ему не хотелось говорить с ней. Камин был позади

у него, за спиной. Он жестом показал Луизе, что она может пройти и поправить огонь. Луиза прошла неслышными шагами, как будто она не ступала, а пролетала в воздухе. Капитан оглянулся: Луиза вначале обмела пыль с каминных часов; затем отложила обметалку из петушиных перьев, взяла в руки кочергу и стала неторопливо размешивать куски антрацита в камине. Капитан подумал: «Как ничтожна эта выжившая из ума старуха и до какого идиотского автоматизма она дошла в исполнении ежедневных привычных обязанностей по домашнему обиходу; и как хорошо, что старуха пришла сюда, — он может запретить ее в кабинете, пока пойдет к молодой фламандке». Капитан улыбнулся своим мыслям и решил, что недурно будет записать кое-какие штришки из своих наблюдений над фламандцами. Он написал: «Бельгийцы напоминают бездушные машины. При самых страшных обстоятельствах для их родных они невозмутимо выполняют привычные житейские функции. Это у них не от силы характера, а от душевной неподвижности. Поэтому они в массе очень пригодны для рабского труда и беспрекословного исполнения всех предписаний, которые...»

Но дописать фразу капитану не удалось. Луиза подняла над его головой тяжелую кочергу и с бешеной силой ударила его по черепу. Капитан, не издав ни звука, попяк головой на стол возле своего дневника.

Луиза, походкой, напоминающей беззвучный полет, бросилась было к двери. Но руки ее дрожали, глаза не видели, она шарила по двери ладонями и не могла найти дверную ручку. Тогда, ужаснувшись, Луиза кинулась в угол, где стояли широкие листы фанеры, прислоненные к стене и почти доходящие до потолка. Сжавшись в комочек, Луиза, не помня себя, с проворством маленькой девочки пролезла меж стеной и листами фанеры.

Там она опустилась на пол, оперлась спиной об стену и подогнула колени. Она почувствовала, что теперь она спряталась, и ей сразу стало спокойно. Сердце ее почти не билось. Она ничего не ощущала. В каком-то еще живом утолще ее существа осталось лишь воспоминание от слезы, которая упала из глаз Марике и обожгла раскаленной каплей ее старческую руку. Но это воспоминание стало становиться все бледней и стало уходить куда-то очень далеко. И вдруг ее потрясло, что она сделала что-то сверхъестественное, выходящее из заведенного обихода и осуждаемое обычаем. Она испугалась этого сознания. Сердце ее похолодело. Колени дернулись, но вытянуться ей некуда было. Голова ее откинулась назад. Она умерла.

Она умерла так же мгновенно, как умер когда-то ее брат, отец Матье и Альберта, но тот умер от радости, она же от ужасного сознания, что убила человека. Но поза, которую ей дала смерть, была такова, что казалось, будто Луиза безмятежно отдыхает, совершив то, что судьбою было ей положено совершить.

★ ★

Когда майор, вернувшись с вокзала, вошел в дом ван-Экелов, на лестнице было тихо. Румяный и коротконогий стояли на посту у двери Марике. Фельдфебель Магуна рапортовал майору, что все спокойно.

— Скажи, Магуна, входил ли кто в комнату к бельгийке?

— Никто не входил, господин майор.

— А где сейчас молодая бельгийка? Где старуха? Где капитан?

— Бельгийка у себя. Господин капитан в кабинете. Старуха несколько минут тому назад прошла к господину капитану.

— Для каких надобностей? И зачем ты пустил?

— Не имел от вас распоряжений, господин майор.

— Ты мне за это ответишь.

Майор не любил фельдфебеля Магуна, потому что считал его во всех делах сообщником и доносчиком капитана.

По дороге к кабинету майор подумал: «Несомненно, эта скотина капитан был у бельгийки, а эта собака фельдфебель говорит неправду». И майор принял решение сейчас же свести счеты с капитаном «по-солдатски».

Когда майор открыл дверь и увидел капитана пониженным на стол, его охватила злоба: «Конечно, был у бельгийки, а после наакался бургонского, ослаб старый пакостник и заснул».

— Эй, капитан!

Но, еще не дойдя до стола, майор понял, что капитан мертв. И может быть, убит. Как? Кем? Майору стало страшно. Он отскочил от окна в простенок и закрылся портьерой. Некоторое время он ждал выстрела с улицы, боясь выйти из простенка. Но было тихо.

Вид капитана был жалок. Крови вытекло немного. Она просочилась около правого плеча по мундиру над лопаткой. Майор обнажил голову и сделал крестное знамение по-католически. Ему хотелось убежать, но боязнь неожиданного нападения приковывала его к месту. Он вытащил револьвер и, держа его перед собой, осторожно дотянулся до кнопки звонка на столе.

Вошел Магуна.

— Обищите комнату и весь дом! — приказал майор, не отходя от простенка.

Магуна кликнул солдат. Майор осмелел и стал приказывать отрывисто:

— Осмотрите окна. Заперты ли? Осмотрите камин. Не спустился ли убийца через трубу? Нет ли кого под столом?

Вдруг коротконогий Бернгард закричал:

— Старуха здесь!

Майор сейчас же выскочил из прикрытия и бросился к фанере.

— Выходи, старая ведьма!

Майор в ярости откинул фанерные щиты; они упали и ударили коротконового.

— Встать, старая ведьма! Убью!

Майор направил револьвер на Луизу. Ему показалось, что Луиза улыбается.

— Она мертва, госмодин майор, — тихо прошептал коротконогий, как бы боясь, что Луиза услышит и откроет глаза.

★ ★ ★

Когда убрали из комнаты трупы, майор подошел к письменному столу и взял дневник капитана. Прочитав в дневнике подтверждение своим подозрениям о том, что капитан доносил на него командованию, майор подумал: «Что за охота у всех немцев к дневникам? Даже такая дрянь, как этот издохший капитан, записывал для потомства свои собачьи мысли и свои свинские переживания».

— Магуна! — крикнул майор.

Магуна подошел. Он дрожал от страха. Он ждал наказания за то, что допустил убийство капитана. Но майор ласково сказал:

— Садитесь, Магуна. Вы мне нужны. Вы умели давать покойному капитану такие великодушные советы, что никто никогда не ушрекал капитана в мягкости. Я сейчас должен сообщить командованию о том, что здесь произошло. От меня будут ждать разных практических предложений. Я предлагаю: во-первых, тело капитана, как нашего героя, надо похоронить с великими почестями. Что еще? Во-вторых, мы возьмем заложников. Сколько, Магуна? Двадцать? Мало! Тридцать? Тоже, по-вашему, мало? Пятьдесят? Сто, по-вашему? Молодец Магуна. Пусть будет



сто. Магуна, мы с вами из уже взятых расстреляем заложников полсотни. Как думаете? Расстреляем? Ах, плутишка, смеется. Значит, есть: расстреляем. Что же мы еще сделаем? Что-нибудь поновей, пооригинальней, — не придумаете? Я, признаться, как-то не люблю придумывать, а так просто, не думая, в голову не приходит. Нет ли чего интересного в городе, что можно было бы сжечь, взорвать? Кого они тут уважают, что они чтут? Хорошо бы это смешать с дерьмом.

Магуна преобразился. Ему казалось что туча, нависшая над ним, уже проходит мимо, что он становится нужным майору так же, как был нужен капитану.

— Позвольте вам доложить, господин майор. У меня есть запись предложений. Я обдумывал давно... знаете, в минуты, когда мечтается... вот извольте взглянуть... На всякий экстренный случай я составил список шестидесяти семи возможных карательных мероприятий... тут, господин майор, на всякий вкус, и по женской линии, и по линии духовенства, и по части старины. Я специально изучал этот городишко, а вот здесь отчеркнутое синим карандашом, — это пронумеровано от тридцать второго до сорок шестого, касается вражеского детского отродья, а также школ и учителей, а здесь красным отчеркнуты интересные мероприятия по фабрикам, по магазинам, по домашним вещам, господин майор, а в конце, господин майор, есть просто веселые и смешные штучки; они у меня помечены под рубрикой «курьезы страха и ужаса»; часть из них годится для публичного исполнения на площадях и улицах. Они пронумерованы отдельно не под цифрами, а под литерами; подробности смотрите в списках и примечаниях под римскими обозначениями.

— Хорошо, Магуна, вы молодец, дайте сюда ваш список.

Майор углубился в рассмотрение списка. Читая,

он то покачивал головой, то откидывался назад и хохотал, то неодобрительно морщился. Кое-что он отмечал большими крестами на полях.

— Вот, Магуна, из вашего списка, из шестидесяти семи мероприятий, отобрал восемь. Отобрал и устал. Ах, работа, работа. Мы ведь, Магуна, солдаты. Я не чиновник, как был покойный высококочтимой памяти капитан. И потому мне было бы приятней и легче на поле битвы, чем за штабным столом. Это глупо и тяжело, Магуна, работать головой. Итак, ваш список я кладу к себе в карман. Благодарю вас за пегу Магуна. А теперь, Магуна, встаньте. Руки по швам, Магуна! Смирно! Голову выше. Еще выше! Шлечи отвести больше назад. Не дышать, сволочь!

Майор размахнулся наотмашь и ударил Магуну по лицу стэком справа налево и еще раз, слева направо. Затем опять справа налево; и еще слева направо. Магуна слегка вздрагивал и покачивался при каждом ударе, но принимал все это как должное.

— Я вас бью, Магуна, за то, что вы не смогли уберечь моего друга капитана.

Майор вызвал солдат и приказал взять под стражу фельдфебеля Магуну. Майору хотелось отделаться от преданного прислужника своего бывшего сомерника и врага.

На листке мероприятий, которые майор намеревался предложить на утверждение командования, он дописал еще одно: «Предать военно-полевому суду штабс-фельдфебеля Магуну, арестованного мною по подозрению в попустительстве убийцам капитана Ифлюградта и отдать под суд рядовых Бернгарда и Филиппа за неисправную службу».

«На этот раз командование не упрекает меня в мягкости ни к бельгийцам, ни к своим», — подумал майор.

Он остался доволен. Он был уверен, что теперь отменят его отъезд на Восточный фронт. Ему хотелось

пить, хотелось праздновать победу. Он расстегнул три пуговицы кителя, отомкнул кнопки на внутреннем секретном карманчике и достал оттуда плоскую книжечку в сафьяновом переплете, очень похожую на дневник покойного капитана. Когда-то, в первые дни занятия Брюсселя, они с капитаном нашли в одном магазине десятка два таких книжечек. Майор неторопливо раскрыл книжечку и записал: «Ночь. Все складывается хорошо. Сегодня будем веселы. Аминь».

\* \* \*

Летуле вернулся в комендатуру вскоре после майора. Полковник тоже был доволен ходом дел. Бегство и гибель Альберта ван-Экена произошли как раз тогда, когда этот бельгиец уже был не нужен. Вагоны и паровозы были осмотрены. Срочный ремонт был быстро произведен, и составы уже формировались. Оставалось только погрузить людей и материалы.

Сообщение майора об убийстве капитана Летуле выслушал равнодушно. Пфлюградт не располагал его к себе с первой минуты их встречи. Полковник вообще был убежден, что старые военные прошлой империи не годятся для современной войны, что они не способны умножить воинственный дух германцев и умело направлять разрушительную ярость воинов на искоренение всего, что враждебно германскому духу. Летуле не любил старых военных вильгельмовского времени также и за то, что в них было, по его мнению, много стяжательства и слишком большая склонность к сложной игре с покоренными народами. Но полковнику был неприятен и майор. Не вполне отдавая себе в том отчет, Летуле чувствовал в майоре много своих собственных черт, но выраженных в простецкой и глупой форме. «Отдать солдатам на разграбление город, подарить воинам пленниц на потеху, это — достойно полководца, это — широкий жест властелина, другое же совсем дело, когда жалкий

офицеришка сам рыщет по винным погребам или тащит к себе упирающуюся унылую рабыню», — так Летуле рисовалось расстояние между ним и майором.

Однако он благосклонно выслушал предложение майора о мероприятиях для наказания города за убийство капитана Пфлюградта. Полковник подтвердил перед командованием все предложения майора. Больше того, от себя он добавил к рапорту, что, по его мнению, следовало бы, ввиду смерти капитана, оставить на посту начальника гарнизона и железнодорожного узла майора. Полковнику не хотелось брать с собою в рискованное путешествие в Россию такое ничтожество. Он сообщил майору о том, что ходатайствует за него перед командованием. Полковник очень любил, когда люди считали себя обязанными ему. Он полагал, что воину вообще присуще любить со стороны младших всяческие изъявления преданности и благодарности.

Но Летуле был прежде всего служака. В нем крепко вкоренилась солдатская служебная исполнительность и чувство служебного долга. Как старший по чину в городке, он считал себя обязанным разобраться в обстоятельствах, вызвавших гибель немецкого капитана, хотя бы то и был неприятный ему пруссак Пфлюградт.

Полковник решил произвести беглое следствие. Он велел вызвать к нему арестованного фельдфебеля.

Представ перед полковником, Магуна загадал: «Если полковник не найдет оснований предать его суду, он, освободившись, сведет счеты с майором и постарается отомстить бельгийцам за капитана так, что те долго будут его помнить; если же Летуле будет таким же к нему строгим, как и майор, то он дезертирует; не так уж плохи бельгийцы, и, к счастью, у него, Магуны, найдутся среди городских жителей кое-какие связи; его, наверно, укроют». Магуне даже представлялось, какое он написал бы письмо разыскиваемому

теперь немецкими властями известному Матье ван Экену: «Я, фельдфебель Магуна, давно уже убедился в разложении гитлеровского режима и стал убежденным антифашистом, и все мои товарищи только и мечтают как бы сбросить с себя ненавистное ярмо!..» — лишь бы только бельгийцы оставили ему жизнь и не расследовали того, что он натворил во время оккупации.

Его мысли были прерваны вопросами Летуле. Магуна отвечал на них так, чтобы прежде всего очернить майора. Полковника обозлил такой оговор подчиненным своего начальника. Вытянув из Магуны все сведения, какие можно было, Летуле накричал на фельдфебеля и велел отвести его обратно в тюрьму, пригрозив беспощадным судом.

В показаниях Магуны полковника заинтересовала женщина. По его приказу, привел Марику. Он стал ее допрашивать. Марике не ответила ни на один вопрос. Полковник нашел ее очень красивой. Он не прочь был бы иметь такую женщину у себя в постели. Но она показалась ему угрюмой и слишком занятой чем-то своим и потому скучной и неприятной; с ней понадобилось бы насилие, а он любит скорее испуганную податливость и желание угодить, хотя бы и из страха. Лучшее его воспоминание это — вакханки, — он нашел несколько таких во Франции, — «чорт их знает, притворно ли они изображают страсть, или были на самом деле страстны, но это были настоящие вакханки», — какие, по его мнению, нужны истинному воину для отдыха в промежутках между боями.

Летуле позвал в кабинет майора и предложил:

— Может быть, вы, майор, спросите эту женщину — по своей ли воле она подговорила старуху убить капитана, или были у нее советчики, сообщники и кто именно. На мои вопросы она молчит. А у вас чудный стэк, о котором очень лестно отзывается

местное население. Пожалуйста, майор, не стесняйтесь, вы среди ваших поклонников.

Летуле хотелось испытать майора. Но полковник обманулся в ожидании: майор действительно не постеснялся, — он несколько раз ударил Марике по лицу стэком и при этом каждый раз хохотал. Полковник его остановил.

— Может быть, мы доставим удовольствие вашим солдатам? Пусть человек десять побеседуют с нею в сарае. Как вы думаете, майор?

Марике при этих словах осталась неподвижной, хотя она понимала по-немецки.

— А мы с вами тем временем, майор, разопьем бутылочку вина. Я вами очень доволен. И вы распорядитесь, чтобы нам сейчас накрыли хороший ужин в духе воина Лукулла, ввиду близкого моего отъезда.

Майор, все время опасавшийся беды от допроса Марике, повеселел. Он решил, что теперь пришел момент обратиться с просьбой:

— Зачем же, дорогой полковник, отдавать эту женщину солдатам? Я могу это сделать после. Я вас прошу, отдайте ее в мое распоряжение.

Летуле очень любил ловить людей на их слабостях. От просьбы майора он испытал огромное удовольствие. Он принял холодный, сухой вид. Велел увести Марике и приказал майору тоном начальника, без тени начавшейся было между ними фамильярности, сесть к столу и написать под его диктовку приказ, который должен был быть немедленно, сейчас же, несмотря на ночь, вывешен на вокзале, железнодорожных путях, на улицах и площадях.

«Мы будем безжалостно уничтожать всех врагов сотрудничества Бельгии с великой Германней. Нам известно, что Матье ван-Экен в городе. Будет награда в пятьдесят тысяч марок тому, кто укажет, где он. Если в городе или на железнодорожных пу-

тях произойдет малейший акт сопротивления немецким властям, жена Матье ван-Экена, Марья ван-Экен, будет немедленно повешена. Она заключена в тюрьму как заложница и будет сопровождать немецкие эшелоны, находясь на паровозе». Затем Марике была увезена из дому в привокзальную тюрьму.

\* \* \*

Сигнальщики были уже расставлены по вторым, по третьим этажам, мансардам, а кое-где и по крышам. Они держали под наблюдением железнодорожный путь на всем протяжении от вокзала на западной окраине до юго-восточной части города, где путь проходил через мост неподалеку от боен.

Отряд в двадцать три человека, вооруженный ручными гранатами, одним автоматом и несколькими ломами, уже расположился в окрестностях железнодорожного моста, готовый по знаку Матье броситься на путевое охранение и пробраться к путям и мосту перед самым моментом подхода эшелонов.

В доме Смиссена при свете коптящего ночника Матье принимал и выслушивал разведчиков.

Поступавшие сведения были тревожны. Немцы усилили охрану путей на территории города и в окрестностях. Возникли сомнения в возможности лобового нападения на воинский поезд вблизи моста. Матье волновался, ожидая возвращения Лезанфана о вестях о Марике.

С разведки у вокзала явился Иохим. Иохим, войдя, бросил со всего размаха кепи на стол, грузно опустился в старое поломанное кресло у очага, погрел над углями руки и сказал:

— По-моему, выступление надо отменить. Мы ничего не добьемся. Кстати, я слышал новую ночную английскую радиопередачу: русские нанесли еще один удар немцам под Москвой, они отбросили их за Волгоканал, севернее Москвы.

— Что ты хочешь этим сказать, Иохим? — спросил Матье, — может, по-твоему, усилия русских позволяют нам быть неблагодарными и разрешают нам помогать общему нашему врагу?

— Я хочу только тебе сообщить, что проникнуть на привокзальные пути и в мастерские мне не удалось. Теперь ни мы не знаем, что там делается с формированием эшелонов, ни железнодорожники не знают о наших планах. Можно ли рисковать при таком положении?

По поведению Иохима Матье догадался, что у того есть еще какие-то вести или доводы, которых он не высказывает. Иохим, однако, отмалчивался.

Наконец прибыл Лезанфан. Он сообщил, что в назначенном месте Марики не появлялась.

Иохим сделал знаки Лезанфану и хозяину дома ван дер Сmissену выйти из комнаты и оставить его вдвоем с Матье. Когда они вышли, Иохим полез за пазуху и достал мелко свернутую афишу.

— Прочитай, Матье.

Матье прочел объявление полковника Летуле о том, что Марики взята заложницей. Так он узнал, что его жена будет находиться на паровозе воинского поезда, на который он, Матье, готовил нападение.

— Это, может быть, не решающий довод, Матье. Но при всех прочих доводах ты должен и с этим по считаться.

Затем Иохим заторопился.

— Я пойду, Матье. Дела есть. Минут через десять я вернусь. А ты обдумаешь и сообщишь мне твое решение.

Иохим ушел.

Деловая сторона была для Матье ясна. Его решение было уже принято с первого мгновения: нужно лобовое нападение. Подземный взрыв путей невозможен, — нет времени. Наземная порча путей незаметным образом тоже неосуществима. Отложить нападе-



ние нельзя, — эшелон уйдет, а после его ухода порча путей не будет иметь почти никакого значения. Именно теперь важно нарушить движение, когда в местном узле сосредоточены к отправке большие резервы, спешно бросаемые в развернувшуюся на Востоке битву. Но Марике будет на паровозе. Паровоз первым полетит с рельс. А если как-нибудь чудом Марике спасется при крушении, она будет казнена немцами в отместку за крушение.

Матье сидел в оцепенении; без мыслей, без ощущений. Он попробовал встать, походить: ноги гнутся, плечи виснут, на голову как будто положена тяжелая плита. Он заставил себя думать. Но скоро поймал себя на том, что он ни о чем не думает.

Перед ним все вставала и проходила одна и та же картинка, все в одних и тех же подробностях: вот немцы объявляют Марике, что сейчас ее казнят; Матье представлял себе при этом ее лицо, ее глаза; вот она посмотрела на небо, на деревья, может быть, она вспомнила и подумала о нем; может быть, она вспомнила о Ренэ и ей стало жаль, что она видит небо, а Ренэ уже не может видеть небо; вот ведут Марике к месту казни; вот стреляют, и она падает. И все это Матье переносит в мыслях своих твердо. Но вот в воображении повторяется еще одна деталь: Марике упала с простреленным сердцем; она лежит одна на отгороженном пустыре у моста, недалеко от калитки, ведущей к бараку, где помещаются караульные солдаты; наступает ночь, дует ветер, никого кругом нет, все заперлись в домах и греются около печей, а Марике лежит одна; и вот через калитку проходит немецкий часовой и в темноте наступает сапогом на прекрасное лицо Марике; часовой спотыкается, в досаде ударяет кублуком по лицу Марике и отталкивает ногой ее тело с тропинки в глубокую яму с водой, где плавают гнилые щепки и по поверхности воды колыхнутся нефтяные пятна.

Матье поднимается на ноги, полный решимости и воли; он говорит самому себе вслух: «Пора, пойдем, надо делать, что задумал».

Матье надевает пальто, берет шляпу, но не решается падеть на голову. Ему кажется, что как только он наденет шляпу, все бесповоротно будет решено, — а ведь надо что-то еще взвесить, что-то еще с самим собою обсудить. Он снова садится. Шляпа падает у него из рук на пол. Он подвигается ближе к окну и смотрит. Но за окном темнота.

Матье вдруг открывает, что он думает не о том, что ему надо делать или чего не делать, а думает о русских, думает о том, как было бы хорошо, если бы они немцев разбили. И ему сразу все кажется таким простым и таким ясным.

И он видит, как он семилетним мальчиком сидит на коленях у матери, — мать рассказывает ему сказки, он слушает и мечтает стать героем и борцом, когда будет большой. «Конечно, чего же думать, — опять вслух говорит себе Матье, — пора идти. Все ясно». Он встает, но незаметно для себя сейчас же снова садится. Слезы текут у него из глаз сами собой. Он видит, как немецкий солдат сапогом, тяжелым сапогом, наступает на прекрасное лицо Марике; а Марике лежит одна, покинутая всеми на свете, и никто не придет к ней. Матье кладет голову на край стола и стонет. Затем его охватывает гнев на то, что этот образ часового, наступающего сапогом на лицо Марике, не уходит от него и, наверное, никогда не уйдет из его воображения. Матье резко встает; отыскивает шляпу на полу, поднимает ее, надевает и быстро направляется к выходу.

Когда он проходит через соседнюю комнату, дверь позади него захлопывается, и он попадает в густую неподвижную темноту. Матье кажется, что ему этого как раз и хотелось, — остаться одному в темноте.

«Вот теперь я спрошу себя один перед совестью,

спрошу обо всем, без всякой утайки». Матье замирает на месте. Глаза его открыты, но он ничего не видит; ничто его не отвлекает, ни шорох, ни проблеск света, он слушает самого себя. Мысли его возбуждены. Он уже видит, как он и его товарищи, заслышав поезд, рванулись вперед, как они опрокидывают сторожевое немецкое охранение, как подбегают к линии, разворачивают пути гранатами, ломami, на виду у приближающегося мчащегося поезда; он думает только, как бы ловчее, как бы быстрее все это сделать. И он ощущает в себе силу, крепость, бодрую, живую, почти детскую охоту к бегу, к усилию, к риску, к опасности, к шуму боя, и вместе ровную спокойную уверенность в удаче. Он ясно сознает в эту минуту, что может все перенести, что его теперь ничто не устрашит, что все его существо охвачено азартом битвы.

Он подумал, чем держится в нем эта неистребимая несдающаяся жизнь? Его ужаснуло, как можем мы перенести гибель близких; как может он, Матье, примириться с тем, что всё живет, а они, Ренэ и Марики, не будут жить, как может он перебороть невозвратимость своей потери. И он понял, что в преодолении невозвратимых утрат, в подчинении печалей всегда бодрствующей верности делу и есть истинная жизнеспособность, вдохновляющая на твердое и радостное свершение того, что нам велит наш долг. Без утрат, невозвратимых утрат, нет истинной жизни. Ее торжество не в отсутствии несчастий, а в их преодолении.

И ему открылось, что его способность все перенести происходит из его участия в создании вместе с миллионами людей вечного, бессмертного и негибнущего дела.

То состояние крепости и бодрости, которое теперь было в нем, ему казалось выше и благороднее, чем счастье. В счастье есть довольство и неразлучный с довольством страх, что мгновенно пройдет, минует.

Соприкосновение же с великим, негибнущим и вечным наполняет готовностью противопоставить всем возможным испытаниям и еще неизвестным страданиям свою израненную непоколебимость и свою жадную решимость дальше делать и делать, вновь и вновь создавать, вновь подниматься и всегда вновь воскресать.

Матье ощупью дошел до выхода. В передней, в полутьме зашевелилась тень. Его окликнул Иохим:

— Ты уже выходишь, Матье? Так быстро?

— Я готов.

— Ты все решил, Матье?

— Да, все решил.

— Да когда же? Я и не успел еще уйти. Что же ты решил, Матье?

— Надо делать то, что делать надо. Идем.

«Этот человек не знает сомнений, — подумал Иохим, — как я ему объясню, почему я никуда не ушел и оставался все время здесь?»

— Идем, Иохим. Мне еще до рассвета предстоит одно дело.

Матье подумал, что ему надо до нападения на эшелон разыскать Альберта и казнить его за измену.

Иохим же попросил не торопиться, остаться еще немного; раньше рассвета эшелоны не тронутся.

Иохим открыл дверь в чулане под лестницей и позвал кого-то, там ожидавшегося.

— Иди.

Из темноты ступил на порог комнаты Альберт.

Иохим же вышел на улицу, оставив братьев последние друг с другом.

Матье узнал брата по шагам.

Матье сухо кашлянул. Альберт, зная, что у брата это было знаком, что он не хочет говорить, а хочет слушать. О, как он, Альберт, знает все в любимом старшем брате и как он, теперь оступившись, любит в Матье его спокойную силу. О, с каким открытым

сердцем он сейчас расскажет брату о всех своих муках, признается во всех своих ошибках и будет просить его дать ему новые силы для борьбы. О, как будет рад Матье, что и Альберт станет вместе с ним в ряды тех, кто не примирился с иноземным владычеством.

Альберт обо всем этом решил, сидя в подземельи под сводами родного дома. И вот теперь наступила минута их настоящей встречи и их настоящего слияния.

Но Альберт не успел начать говорить, как Матье подошел к двери, запер ее, а ключ положил к себе в карман. Матье сделал это все с тяжелой медлительностью. Альберт мог это видеть и заметить. Альберт же не видел и не заметил. Иное занимало Альберта в эту минуту: отчужденность и жесткость брата, которую он уже успел почувствовать.

Альберт ушел бы, не стал бы говорить, если бы сейчас не решался для него вопрос о жизни со своими или о смерти в отчуждении от своих и безотрадном одиночестве.

Поэтому Альберт переборол себя, остался и заговорил. Но заговорил не так, как хотел вначале, не так искренне, как говорил с братом в детстве и не с таким глубоким и простым раскаянием, каким было полно в эти минуты его сердце.

— Видишь, я сам пришел к тебе, Матье.

— Если б сам не пришел, я бы отыскал тебя.

— Но я пришел же. Я раскаиваюсь, Матье. Ты слушаешь меня, Матье? Или, может быть, не хочешь слушать? Я говорю, а ты занят чем-то другим, роешься в карманах и что-то ищешь. Я подожду, когда найдешь.

Альберт замолчал. Матье возмутился:

— Начал говорить, — говори.

— Я прошу простить мою минутную, всего минутную, слабость. Вот ты опять занялся чем-то в

карманах. Скажи прямо, что не хочешь слушать... меня... Что это ты вынул?

Матье закричал:

— Продолжай!

— Я вижу, может быть, я не так сказал, — хорошо, пусть будет иначе, не минутную слабость, а ошибку... И это тебя тоже злит? Ну, не ошибку, а мое паденье. Я искренне говорю: паденье. Но я надеюсь, что я не успел принести вреда...

Матье раздраженно вскочил.

— Надеешься?

Альберт продолжал:

— ...большого вреда. А если успел, то отныне я положу искупить...

Матье перебил брата, его раздражение прорвалось:

— И как ты смеешь «надеяться», что не принес вреда. Молчи! Я тебе говорю — молчи! Если ты не понимаешь, что ты сделал, значит, ты не живешь с нами одним и тем же чувством. Молчи! Ты знаешь мой характер. Станешь оправдываться, будет для тебя хуже.

Но Альберт попытался продолжать. Матье снова закричал:

— Молчи!

Альберт замолчал. Матье подождал несколько мгновений: будет брат пытаться говорить или будет молчать. Альберт молчал. Матье еще выждал.

— Теперь послушался. Вот так хорошо. Сядь. Я тебе говорю: сядь. И слушай! Меня теперь слушай, а не свои слова. Ты спрашиваешь, что я искал в карманах, что вынул. Посмотри. Видишь? Это — нож. Я хотел тебя убить. Я... тебя! Это ты можешь позвать? До какого же горя ты меня довел. А я ведь тебя любил не меньше, чем я любил Ренэ и Марике.

Матье остановился на минуту. Он хотел откашляться, но это вышло похожим на сорвавшийся стоп. И этот стоп привел Матье в то отчаянное бешенство,

которое было ему свойственно в минуту вспыльчивости. Он подбежал к двери, стал искать ключ, — не нашел его, толкнул ветхую дверь могучим ударом и закричал:

— Уходи с моих глаз! И я тебе вслед брошу этот нож. Чорт с ним. Может быть, ты его подберешь и сам убьешь себя, если ты понял, что ты сделал. Ах, ты не понял еще ничего? Ты не знаешь, за что я хотел тебя убить? Не за минутную твою слабость. Разве это оправданье, что она была минутная, — для нас сейчас решают не минуты даже, а секунды. И не за твою ошибку я поднял бы руку на тебя, а за вред, который ты принес. Его нельзя поправить никогда. В ту минуту, когда мы были на краю бездны, ты оказался не с нами. Можно ли это забыть? И всегда все будут помнить: в ту минуту он был с врагами. Вечно будет тебя за это судить наша торжествующая победа. Вечно. И, может быть, было бы легче для тебя, если бы тебя убил я, убил сразу, убил рукою брата. Уходи. Дверь открыта. Иди. Никакие раскаяния тебе не помогут.

Матье распахнул двери и ждал. Альберт всегда был ему покорен, когда он гневался и безумствовал.

Но в этот раз Альберт не покорился.

Он подошел к брату, дрожащий от возмущения и решимости.

— Отойди, Матье, от порога. Я закрою дверь. Я еще объяснюсь с тобой в последний раз. Самодовольный ты глупец! Теперь я тебе буду приказывать. Во мне такая же кровь ван-Экенов, как и в тебе. Как смеешь ты произносить мне приговор и пророчествовать о моем будущем. Какое самомнение! А разве сам ты никогда не приносил вреда твоему собственному делу? Пусть, положим, не по слабости, как я, а по ошибке или глупости. Я тебе приказываю: сядь и выслушай, что я скажу. Я не уйду от тебя, как бы ты меня ни оскорблял. Я пришел не для раска-

янья. За ошибку и вред пусть судит потом меня судьба. Я пришел, чтобы вместе с вами сражаться. Один, без вас, я не умею и не знаю, как мне делать. Кто же отвергает соратника на поле битвы? Ты играешь паруку нашим врагам. Неужели ты пойдешь на такое преступление, чтоб оттолкнуть, отвергнуть меня в такую высокую для меня минуту?

Матье отошел от двери и покорно сел у стола.

— Я слушаю, — сказал он младшему брату.

— Весь мир знает, Матье, о жестокостях немцев, о пытках, о физических истязаниях, которым они подвергают свои жертвы. Но, боже, что я испытал! Они применили ко мне невидимые глазом изощреннейшие нравственные пытки, нравственные истязания. Видит ли мир, знает ли мир об их тончайше разработанной системе морального сокрушения своих жертв? Участь их моральных невольников не менее тяжела, чем участь других их жертв. Поставят ли немцам и это в счет? Ответят ли они и за это? Или весь гнев ты обратишь только на твоих ослабевших братьев, унавших под тяжестью испытания?

Матье вытянул руку, останавливая Альберта и как будто произнося клятву. Рука протянулась, казалось, через всю комнату.

— И это немцам не забудется!

— Так слушай меня, Матье. Я не испугался смерти. Я перенес ее угрозу легко. Тогда меня казнили возвращением к жизни. А вернув к жизни, меня уверили, что у нас нет надежды на победу. Это был последний удар, последняя капля; это было как будто набросили жернов на шею человеку, который из последних сил боролся с течением, уносящим его в пучину.

И Альберт рассказал брату весь путь своих испытаний:

— Я вырвался, Матье, из удавьего кольца. Но ужас, который оставили во мне эти короткие часы,



сильнее всякой боли. Я потребую расплаты. Я буду мстить. Поможешь ты мне в этой мести? Неужели не поможешь, Матье, мой старший брат Матье, мой любимый брат? Знай, если не поможешь, ты ввергнешь в отчаяние того, кто, может быть, был бы хорошим борцом за наше дело. Теперь суди.

Матье встал, подошел к Альберту и крепко обнял его.

— Я знаю, Альберт, что ты несчастен. Я люблю тебя, брат. И мне жаль тебя. Как только ты вошел, мне хотелось обнять тебя и вместе с тобой погоревать о том, что ты с собою сделал. У меня резкий, нехороший характер, и я вспылал, может быть, оттого, что я боялся своей нежности к тебе. Затем я рассудил и взял себя в руки. И я не боюсь теперь тебя дожалеть и обнять тебя. Я тебя выслушал. А теперь, как я тебе уж сказал, иди. Дверь открыта. Я тебя не приму в наши ряды.

Ласковые слова и спокойствие брата ужаснули Альберта больше, чем его бешеный гнев и негодование в начале встречи.

— Почему, почему ты прогоняешь меня, Матье?

— Ты не усилишь, а ослабишь нас. Ступай и учись мужеству. Ты усомнился в нашей победе. И этим колебал нашу веру в самих себя и наше доверие друг к другу. Это — первое твое преступление и первая твоя беда. Ты хотел взвесить на весах и рассчитать, чей успех вероятней. Это — второе твое преступление и вторая твоя беда. Этим ты отделил себя от родины. Принимай ее несчастья как свои собственные. И тогда при всех поворотах судьбы ты сумеешь остаться ей верен до конца. Ты думал, что величие родины живет только в прекрасных союжениях прошлого, и ты забыл, что сам ты обязан быть живым носителем и частицей, воплощающей немеркнущую славу отечества. Могут быть разрушены какие угодно памятники, но никогда не сотрется память

о доблестях, которые мы совершим. Наше малодушие будет оскорбительней для святынь старины, чем наша решимость пожертвовать святынями во имя победы. Ты еще не готов нести наше тягчайшее бремя. Прощай. Я буду ждать, когда ты придешь иной. Только всей твоей жизнью ты можешь искупить твою вину. Мы издали тебе поможем.

Альберт повернулся и пошел к двери. На пороге он сказал:

— Я ошибся в тебе, Матье. Ты не любишь меня.

— Если бы ты знал, Альберт, на что я решился перед тем, как ты пришел, не сказал бы ты так и ты понял бы, почему я не могу простить тебя. Когда-нибудь ты о том узнаешь.

Альберт вышел из дому. Матье услышал, как снаружи Альберта окликнул Иохим и Альберт дружески ему ответил.

Голос Альберта, среди ночи и тишины, — особенно близкий, родной и привычный, — принес Матье воспоминание детства, воспоминание о счастливых ночах под этим же небом, как издали приносит ветер с полей запах цветов. Матье захотелось окликнуть Альберта, позвать его, догнать, вернуть. Но зачем?.. Нет, теперь уж незачем. Пусть уходит.



Шаги Альберта затихли, и очертания его растаяли в темноте. Настороженное ухо Матье услышало шорох голых ветвей, — это, очевидно, Альберт вышел к каштановой аллее и пробирается через изгородь из акаций.

Матье обошел расположение своего отряда и проверил готовность людей. Все были на месте, все были готовы.

На востоке сияла далекая спокойная звезда. Подходила уже глухая пора долгой зимней ночи. Как раз самое время эшелону трогаться. Но сигнальщики не

подавали условленных знаков. «Неужели вемцы перехитрили меня?» — подумал Матье.

А ночь текла. Звезды мерцали. Тишина чуть звела от ветра. Как ни прислушивались Матье и его товарищи, а шума поезда с линии не доносилось. Иногда тишина до того напрягалась, что казалось, и она ждет, когда прозвучит условный сигнал. Но сигнал не звучал. У людей Матье приподнятость ожидания начала сменяться усталостью.

А ночь медленно шла, не останавливаясь. И свет месяца становился все холодней.



Альберт шел без цели. Он был поглощен только одной заботой: не встретить на пути патруля. Он не знал, куда и зачем ему идти. Его отчаяние было так беспредельно, что он перестал его ощущать. Ему все время хотелось насвистывать.

Когда он дошел до круглой башни, неподалеку от ратуши, ему пришлось переждать в нише фонтана меж колоннами, когда пройдет патруль. Отсюда был виден мост, построенный римлянами, паперть собора святой Жюстины, передний фасад пивной «Под крылом ласточки» и начало узенькой, поднимающейся в гору улицы «Пламенеющей девушки».

Альберт вспомнил девушку, спасшую чужих детей; вспомнил доктора, павшего последней жертвой эиндемии в тот момент, когда благодаря его усилиям и его искусству черный мор был побежден. Он вспомнил и других доблестных деятелей города. В воображении его прошел весь пережитый день, с самого утра, когда он рассматривал в лупу валонскую миниатюру и когда Луиза, войдя, сказала ему: «Вас там спрашивают, Бель-бель».

Проходивший патруль завернул за угол. Альберт вышел из ниши. На колонне висела только что приклеенная афиша. При свете звезды Альберт прочитал

о Марике... «Так вот о чем знал Матье, когда я пришел к нему с раскаянием...»

Альберт остановился, вдруг осененный. Затем, возбужденный желанием скорее исполнить, что задумал, он бросился бежать к своему дому. Но сдержал себя и стал пробираться осторожно, чуя каждый шорох: теперь у него была влекущая цель: «...они уже начали расправу, пачну и я свою месть... При взрыве погибнут сокровища, которые я оберегал...» Альберту вспомнилось, что Матье говорил о русских: «...проверю и я себя по их примеру».

Придя в подземелье, Альберт быстро проверил все приготовленное для взрыва, и протянул шнур к самому выходу в кустарник.

Но когда нужно было поджечь, он вспомнил о голубоокой мадонне, похожей на его мать.

Он вспомнил глаза мадонны, в которых светилась вера, что все злое мпнет и на земле зацветет безмятежная радость. Вспомнил ее лицо, освещенное светом весеннего утра, и ее улыбку сладостного созерцания, поставившего себя вне страданий и смерти.

Он подошел к месту, где была лесенка вверх в музей, и долго слушал: в музее было тихо, ни голосов, ни шагов. Судя по отдаленным, еле доходящим звукам, дверь из музея в переднюю была закрыта. Альберт представил себе ясно, как он все проделает в несколько мгновений: повернет рычажок, отодвинет медвежью группу, войдет — освободит холст от рамы и подрамника, свернет холст трубочкой и вернется в подземелье. Он не может решиться на уничтожение голубоокой мадонны. Не колеблясь. Альберт так все и сделал.

Поднявшись в музей, он повернул рычажок и поставил медвежью группу на место. Теперь, если он услышит шаги, он сможет спрятаться где-нибудь, в уголке, и дожидаться, когда будет можно снова незаметно вернуться в подземелье.

Он уже свернул мадонну трубочкой; уже пошел к медвежьей группе; уже рука протянулась к рычажку. И вдруг дверь из передней открылась.

На пороге был Летуле и майор. Вошедшие заметили Альберта. Прятаться ему было поздно.

Но немцев отделяло от Альберта пространство обширной комнаты. Он мог успеть повернуть рычажком медвежью группу, прыгнуть вниз и быстро закрыть за собою спуск в подземелье. Он был бы в безопасности, но немцам стало бы известно существование подземного хода.

Мгновенно все эти мысли промелькнули перед Альбертом. Ему вспомнилось, как Матье, появившись утром, первым делом спросил у него, в порядке ли находятся в подземелье взрывчатые вещества. У Альберта вспыхнула догадка, надежда, убеждение, что Матье обязательно использует подземный ход в каких-то своих целях. Сознание, что он, Альберт, пожертвовав теперь своею безопасностью, может этим содействовать Матье в его борьбе против ненавистных немцев, наполнило Альберта решимостью и удовлетворением. Он отпрянул от медвежьей группы и остался на месте, ожидая расправы над собою.

Альберта пытали, но он не выдал, как он попал в музей. Тайна, которую в семье ван-Экенов умели хранить даже дети и даже от близких друзей, не сделалась известной врагу.

Летуле приказал расстрелять Альберта.

Майор велел коротконогому и румяному вывести Альберта и ждать, когда он придет подать команду к расстрелу.

Бернгард и Филипп вывели Альберта в сад. Поздний бледный месяц низко повис над землею. Кажется, он оставался без движения, но и без ожидания; со всему безучастный, но видящий все.

Альберт взглянул на месяц. Ему вспомнилось много лунных почей в этом саду: почей летних с пе-

движным необъятным чистым небом и серебристым светом на листьях деревьев и над росистой травой; ночей беспокойных, весною и осенью, когда месяц торопливо скользит, убегая в известные ему одному дали, то бросаясь в черные пропасти туч, то торжествующе появляясь на короткие мгновения в незапятнанном сиянии.

И от этих воспоминаний Альберту стало еще спокойней и еще легче. Что он может еще вспомнить? Он ничего другого не хочет вспомнить и не может вспомнить. Теперь главное, что он сознает, это то, — что его совесть чиста, что он поступил как надо и что все его существо успокоено и облегчено ощущением правильно сделанного дела. И ему отраднее от того, что нет никакой в нем расщепины, никакого сомнения, — все так ясно, так хорошо и так ровно на сердце.

Это небо, этот сад, ночи, зори, знойные дни и тихий свет вечеров — вот и все, что было самое замечательное в его жизни. И это так хорошо, так необъятно и так постоянно, что можно бесконечно созерцать и желать бесконечного созерцания, а можно бесстрастно и беспечально закрыть глаза и спокойно навеки заснуть, с безмятежным, счастливым ощущением этой красоты, этой необъятности и этого постоянства.

Его подвели к яблоне с толстым стволом. Эта яблоня уже перешла за средний возраст и начинала стареть. Солдаты остановились здесь подождать майора.

Альберт заметил, что у инициального узла на стволе яблони готова вот-вот отвалиться накладка из валя, прикрывающая полосу ранения.

Он подошел и поправил накладку. У корня что-то блеснуло под лунным лучом. Альберт по привычке наклонился. Это был оброненный гвоздь. Альберт поднял и по привычке положил в карман. Солдаты следили за каждым его движением.

У Альберта было только одно желание; сесть на какое-нибудь сиденье. Стояние на ногах развлекало и рассеивало спокойную бездумную сосредоточенность. Он попросил, — солдаты согласились, и он сел на лавочку в двух-трех шагах от яблони. Теперь можно было ждать, когда придет майор, и не думать о том, что ждешь; и стало безразлично, когда это будет, что он придет; долго ли ждать, или он придет сейчас же, — все равно: спокойная, бесстрастная, бестревожная сосредоточенность, которой отдался Альберт, была так глубока, что для нее не стало времени — и минута сделалась равна бесконечности, и бесконечность показалась бы мгновением. Альберт подумал: «О, эти мгновения ожидания неизбежной смерти, когда ты молод и полон силы, — какой спокойной, торжествующей и гордой безмятежностью наполняют они все твоё существо, если ты сумел отвлечься в этот миг от перебирания мелкой житейской суеты и прикоснуться к вечным источникам непреходящей радости жизни. Для ощущения истинной радости жизни нет времени; мгновение ли мне осталось жить или дни повторятся, все равно глубина удовлетворения та же».

В его душе было так торжественно и чисто, как бывает в недвижном звездном небе.

Снизу, от земли, начал подниматься предрассветный туман. Холодало. Альберт чихнул, — и еще раз и еще. Филипп сочувственно выругался. Беригард сказал:

— Майор всегда так. Это ему одно удовольствие. А человек тут ждет и напрасно теряет время, да и мы на холоде зябнем.

Когда пришел майор, — Альберта поставили у старой яблони. «Теперь-то уж расстреляют», — подумал Альберт. Сколько раз он умирал за этот долгий день и в эту долгую ночь.

Он стоял и ждал, — ждал, что прогремят выстрелы и разорвут почпую тишину.

Он не жалел ни о чем. Его совесть была светла, как начинавшийся тихий рассвет.

Теперь, когда он узнал, что такое решимость бороться, когда он отдал все свои мысли, всю свою любовь великому делу, за которое борются миллионы людей, Альберт чувствовал, что он победил все свои ограниченные привязанности. Только теперь он победил страх. Только теперь он победил печаль. Его уже не ужасала мысль об утрате реликвий родного города. Он был горд тем, что славное прошлое отцов воплощено теперь малою частицей и в нем.

Его сердце обрело бодрость. Жизнь его на пороге своего конца была наполнена ощущением радости.

И вот раздались выстрелы... но где-то далеко от Альберта, один, другой, третий. «Может быть, это Матье и его товарищи стреляют в немцев. Может быть, я оглушен раньше, чем меня успели убить», — подумал Альберт. А затем залп блеснул и ударил перед его глазами. Он упал сраженный. Но когда погасал последний луч сознания, его уста произносили хвалу вечно побеждающей жизни.



— Откуда эти выстрелы? — спросил Матье, ожидавший сигнала о выходе эшелонов. Иохим сказал, что это стреляли где-то около паровозных мастерских.

А ван дер Сmissен, всегда хорошо различавший источник звука, сказал, что залп был в стороне дома ван-Экенов.

Выстрелы не повторились. Но и сигналов не было.

Наконец явился Лезанфан из новой разведки в при вокзальном районе.

— Эшелоны не выйдут. Не ждите.

— Как так не выйдут?! — закричал Матье и вытянул вперед длинную руку, как бы грозя кому-то в темноту.

— Ни сегодня, ни завтра не выйдут.



Лезанфан рассказал, что после того как получились вести о русской победе под Москвой, у железнодорожников без всякого между собой сговора, одновременно почти у всех, явилась мысль сейчас же, здесь же на месте задержать отправку немецких подкреплений. Очень быстро от человека к человеку передалось это решение, — люди понимали друг друга с одного кивка, один другому улыбнется, кивнет, и становится ясно, что надо делать.

«Работа сейчас же забурлила. И вышло такое чудное рагу, какого не делают и в Нормандии на рождество. Все паровозы нашего узла — целых тридцать два, — ни вперед, моя красотка-кантиньерша, ни назад, дружочек мой. Немцы бегают, орут, грозят. Вызывали полковника, — тот кричал и приказывал «под страхом смерти». А страх-то, господин полковник, у нас, извините, пожалуйста, весь израсходовался, — паровоз в ответ на его вежливость тоже вежливо прошипел и остался на месте. Полковник тут же сам застрелил машиниста, — вы знаете его, Буате, Эмиль Буате, чудный парень. Но, извините, полковник, страха у нас все равно нет. И со вторым паровозом тоже. И с третьим. Тогда эта гитлеровская сволочь стреляет во второго машиниста, — убивает. Это — Поль из Шар-леруа, фамилию его не знаю. И в третьего стреляет.

— И тоже убивает? — спросил Матье.

— Тоже — убил. Тот крикнуть успел: «Месть! Победа!» и упал около паровоза.

— А кто же был третий? — спросил Матье.

Но Лезанфан, как будто не слышав вопроса, продолжал:

— И тогда все зашумели. Всюду побросали работу. Все двинулись в депо. Что будет там, не знаю.

— Кто же там организатор?

— Лезанфан же сказал — никто, само собою вышло.

— Я этого не говорил. Я-то хорошо знаю, кто. Русские — вот кто там организатор. Их победа под Москвой всех зажгла: «И славный их пример — порука, что мы не дрогнем пред врагом», — пропел Лезанфан.

— Снимите шляпы, почтим героев молча. И сейчас же всем отрядом двинемся туда на помощь. Ты не сказал, Лезанфан, кто был третий, расстрелянный полковником.

— Это сын...

— Мой? — тихо спросил ван дер Смиссен.

— Да, ты угадал, твой сын, Смиссен. К нему на паровоз поставили Марике заложницей. Так она, говорят, соскочила с паровоза, когда полковник поднял на твоего сына револьвер и бросилась на Летуле, но тот все-таки успел выстрелить в твоего сына; тут-то и началась всеобщая суматоха.

— Что же ты сразу-то об этом не сказал?

— Я не решался, я не знал, как сказать... У меня в сердце застряли слезы.



Появление отряда Матье на привокзальных путях было внезапным. Выстрелы, раздавшиеся из темноты по постам охраны, усилили волнение и замешательство, начавшиеся около паровозного депо и мастерских. Полковник Летуле и майор спешно отбыли в комендатуру в доме вап-Экепов.

Отряду Матье удалось освободить двадцать заложников, назначенных сопровождать эшелоны, — в числе освобожденных была и Марике.

Увидев Марике, Матье ощутил, как он измучился за этот день: у него нехватило сил на радость. Марике же встретила его сурово: какое-то еще непонятное ей новое чувство владело ею всевластно. Она держалась замкнуто и была сурова не только с Матье, но и со всеми.

Матье приказал своему отряду разойтись по условленным местам, где люди могли укрыться. Сам же вместе с женой и Иохимом скрылся в домике кладбищенского сторожа возле канала, недалеко от дома ван-Экенов. «Вблизи твоего дома тебя искать не будут», — посоветовал ему Иохим.

Здесь Матье и Марике узнали, что Альберт пытался взорвать дом ван-Экенов и был расстрелян в саду под старой яблоней.

Марике сознавала, что надо спешно оставить город. Но уходить не спешила. Что-то удерживало ее. А она не решалась признаться в этом мужу. Матье тоже не торопился уходить. Его тоже удерживало какое-то задуманное дело, в котором он не хотел открыться жене.

Когда же все было готово к бегству, Марике попросила Матье подождать еще немного, пока она побывает на кладбище.

— Зачем тебе туда? — спросил Матье.

Марике ответила с гневом:

— Не трогай ты меня. И не расспрашивай. И не отговаривай. И не доказывай ты мне ничего. Пусть кто хочет как угодно это назовет и как угодно об этом говорит — мне все равно.

Матье припомнил долетевшие до него слова из разговора, который перед тем вела Марике с кладбищенским сторожем. Он понял, что она хочет зарыть на кладбище реликвии, оставшиеся от Ренэ, чтобы создать себе место, где сможет остаться одна со своими воспоминаниями, когда придет победа и для всех вернется жизнь.

Слушая Марике, Матье боялся выказать ей нежность. Но теперь ему стало до трепета страшно, что он мог ее потерять. Он почувствовал к ней благодарность за живущую в ней такую же печаль, как у него на сердце, и ему показалось, что воспоминание о Ренэ связывает их двоих больше и крепче, чем долгая жизнь, прожитая вместе.

Сторож зарыл реликвии по указанию Марике и обложил место, как обкладывают могильный холм. Марике попросила его уйти. Она осталась одна.

Астры на соседних могилах порыжели и согнулись до земли. Цветы же, которые были за стеклом, стояли свежие и улыбались. Уже начинал брезжить рассвет. Предстоял солнечный декабрьский день с влажным морским ветерком.

Марике опустилась на колени. Ей хотелось вспомнить Ренэ. Но она вспомнила капитана, майора, полковника Летуге. Первый луч солнца скользнул по увядшим порыжелым цветам. «Как, — подумала Марике, — мы уйдем сейчас из своего города, из своего дома, а эти изверги останутся здесь, они будут ходить по комнатам, где был Ренэ, где Ренэ рос, где Ренэ улыбался солнцу. И я смею уединяться со своей печалью, когда эти уродливые, страшные чудовища живы и находятся здесь, среди наших людей, в наших домах. Чего же стоит вся моя печаль? И чего же я ждала всю мою жизнь? Они убили когда-то мою юность, и я ответила на это только печалью. Они убили моего сына, и я тоже это покорно снесу? И завтра они убьют моего мужа...» Марике вспомнила, как несчастья отдалили ее когда-то от жизни, как любовь к сыну только увеличила ее страх перед будущим. И вспомнила также знакомое ей ощущение силы, живущей в ней. Эта скрытая сила была ненависть. Раньше ненависть была в ней беспредметной. Теперь Марике знала своих врагов. Теперь она смотрела судьбе в глаза. Теперь ее не пугали никакие угрозы рока.

Ненависть вернула Марике к жизни. Ненависть дала ей решимость и смелость.

Марике повернула в сторону, противоположную той, где ждал ее Матье.

Она пробралась к кустарнику, маскировавшему вход в подземелье. Она знала, что в подземелье все было

подготовлено для взрыва и что падо будет только поджечь шнур.

Когда Марике была уже в кустарнике, она вдруг услышала подле себя хруст сучьев. Она замерла. Хруст повторился: «Неужели немцы?» — подумала Марике.

Перед нею был Матье. Он пришел сюда с той же целью, что и она. Они поняли друг друга без слов. Марике встала теперь рядом с Матье как непримиримая мстительница за страдания своего народа.

Перед тем как поджечь шнур, Матье и Марике услышали наверху в музее голоса.

— Подожди, Марике, послушаем, о чем говорят...

Они не различили слов. Но Марике узнала голос полковника Летуле и голос майора.

— Поспешим, Матье, — сказала Марике.

В рассветный час, когда проснувшийся город радовался вести о победе под Москвою, взрыв в доме ван-Экенов подтвердил горожанам, что настает новый день.

---

Редактор А. С. Мясников.

Подписано к печати 24/XII 1942 г.

Л62249. 4,625 п. л. 6,88 у.-а. л. Цена 2 р. 75 к.

Тираж 25 000 экз.

★ ★ ★

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР  
треста «Полиграфкнига». Москва, Валовая, 28.

Заказ № 2724